ЖОРЖ САНД

КОНСУЭЛО

Жорж Санд
Консуэло
Серия «Консуэло», книга 1

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=662035
Консуэло: Эксмо; Москва; 2007
ISBN 978-5-699-15106-6, 5-699-15106-0

Аннотация

Творчество французской писательницы Жорж Санд (настоящее имя Аврора Дюпен) стало одним из самых значительных явлений в европейской культуре XIX века. Жорж Санд была творческой, яркой, свободолюбивой и талантливой натурой. И многие героини произведений Жорж Санд похожи на свою создательницу. Прототипом Консуэло послужила французская певица Полина Виардо, и самый известный роман писательницы повествует о призвании истинного художника, о нелегком бремени таланта, дарованного судьбой, а порой трагическом выборе между успехом, славой и личным счастьем, радостью семейной жизни…

Содержание

Глава I	5
Глава II	12
Глава III	26
Глава IV	34
Глава V	44
Глава VI	60
Глава VII	68
Глава VIII	77
Глава IX	88
Глава X	93
Глава XI	102
Глава XII	111
Глава XIII	119
Глава XIV	136
Глава XV	151
Глава XVI	160
Глава XVII	172
Глава XVIII	188
Глава XIX	201
Глава XX	211
Глава XXI	228
Глава XXII	239
Глава XXIII	247

Глава XXIV 258
Глава XXV 269
Глава XXVI 280
Глава XXVII 293
Глава XXVIII 304
Глава XXIX 324
Глава XXX 337
Конец ознакомительного фрагмента. 349

Жорж Санд
Консуэло

Глава I

Да, да, сударыня, можете качать головой сколько вам угодно: самая благоразумная, самая лучшая среди вас – это… Но я не назову ее, ибо она единственная во всем моем классе скромница, и я боюсь, что стоит мне произнести ее имя, как она тотчас утратит эту редкую добродетель, которой я желаю и вам.

– In nomine Patris, et Filii, et Spiritu Sancto[1], – пропела Констанца с вызывающим видом.

– Amen[2], – хором подхватили все остальные девочки.

– Скверный злюка, – сказала Клоринда, мило надув губки и слегка ударяя ручкой веера по костлявым морщинистым пальцам учителя пения, словно уснувшим на немой клавиатуре органа.

– Не по адресу! – произнес старый профессор с глубоко невозмутимым видом человека, который в течение сорока лет по шести часов на дню подвергался дерзким и шаловливым нападкам нескольких поколений юных особ женско-

---

[1] Во имя отца, и сына, и святого духа (лат.).

[2] Аминь (*лат.*).

го пола. – И все-таки, – добавил он, пряча очки в футляр, а табакерку в карман и не поднимая глаз на раздраженный, насмешливый улей, – эта разумная, эта кроткая, эта прилежная, эта внимательная, эта добрая девочка – не вы, синьора Клоринда, не вы, синьора Констанца, и не вы, синьора Джульетта, и уж, конечно, не Розина, и еще того менее Микела…

– Значит, это я!

– Нет, я!

– Вовсе нет, я!

– Я!

– Я! – закричало разом с полсотни блондинок и брюнеток, кто приятным, кто резким голосом, словно стая крикливых чаек, устремившихся на злосчастную раковину, оставленную на берегу отхлынувшей волной.

Эта раковина, то есть маэстро (и я настаиваю, что никакая метафора не подошла бы в большей мере к его угловатым движениям, глазам с перламутровым отливом, скулам, испещренным красными прожилками, а в особенности – к тысяче седых, жестких и колючих завитков его профессорского парика), – маэстро, повторяю я, вынужденный трижды опускаться на скамейку, с которой он подымался, собираясь уйти, но спокойный и бесстрастный, как раковина, уснувшая и окаменевшая среди бурь, долго не поддавался просьбам сказать, какая именно из его учениц заслуживает похвал, на которые он – всегда такой скупой – только что так расщедрился. Наконец, точно с сожалением уступая просьбам, вызван-

ным собственной хитростью, он взял свою профессорскую трость, которою обыкновенно отбивал такт, и с ее помощью разделил это недисциплинированное стадо на две шеренги; затем, продвигаясь с важным видом между двойным рядом легкомысленных головок, остановился в глубине хоров, где помещался орган, против маленькой фигурки, примостившейся на ступеньке. Сидя на корточках, опершись локтями на колени и заткнув пальцами уши, чтобы не отвлекаться шумом, она, скрючившись и согнувшись, как обезьянка, вполголоса разучивала урок, чтобы никому не мешать, а он, торжественный и ликующий, стоял, выпрямившись и вытянув руку, словно пастух Парис, присуждающий яблоко, но не самой красивой, а самой разумной.

– Консуэло? Испанка? – закричали в один голос юные хористки в величайшем изумлении. Затем раздался общий гомерический хохот, вызвавший краску негодования и гнева на величавом челе профессора.

Маленькая Консуэло, заткнув уши, ничего не слышала из того, что говорилось, глаза ее рассеянно блуждали, ни на чем не останавливаясь; она была так погружена в разучивание нот, что в течение нескольких минут не обращала ни малейшего внимания на весь этот гомон. Заметив наконец, что на нее смотрят, девочка отняла руки от ушей, опустила их на колени и уронила на пол тетрадь. Сначала, словно окаменев от изумления, не сконфуженная, а скорее несколько испуганная, она продолжала сидеть, но потом встала, чтобы посмот-

реть, нет ли позади нее какого-нибудь диковинного предмета или смешной фигуры, вызвавших такую шумную веселость.

– Консуэло, – сказал профессор, взяв ее за руку без дальнейших объяснений, – иди сюда, моя хорошая, и спой мне «Salve, Regina» Перголезе, которую ты разучиваешь две недели, а Клоринда зубрит целый год.

Консуэло, ничего не отвечая, не выказывая ни страха, ни гордости, ни смущения, пошла вслед за профессором, который снова уселся за орган и с торжествующим видом дал тон своей юной ученице. Консуэло запела просто, непринужденно, и под высокими церковными сводами раздался такой чистый, прекрасный голос, какой никогда еще не звучал в этих стенах. Она спела «Salve, Regina», причем память ей ни разу не изменила, она не взяла ни одной ноты, которая не прозвучала бы верно и полно, не была бы вовремя оборвана или не выдержана ровно столько, сколько требовалось. Послушно и точно следуя наставлениям маэстро и тщательно выполняя его разумные и ясные советы, она при всей своей детской неопытности и беспечности достигла того, чего не могли бы дать и законченному певцу школа, навык и вдохновение: она спела безупречно.

– Хорошо, дочь моя, – сказал старый маэстро, всегда сдержанный в своих похвалах. – Ты разучила эту вещь добросовестно и спела ее с пониманием. К следующему разу ты повторишь кантату Скарлатти, уже пройденную нами.

– Si, signor professore[3], – ответила Консуэло. – А теперь мне можно уйти?

– Да, дитя мое. Девицы, урок окончен!

Консуэло сложила в корзиночку свои тетради, карандаши и маленький веер из черной бумаги – неразлучную игрушку каждой испанки и венецианки, – которым она почти никогда не пользовалась, хотя всегда имела при себе. Потом она скользнула за органные трубы, сбежала с легкостью мышки по внутренней лестнице, ведущей в церковь, на мгновение преклонила колена, проходя мимо главного алтаря, и при выходе столкнулась у кропильницы с красивым молодым синьором, который, улыбаясь, подал ей кропило. Окропив лоб и глядя незнакомцу прямо в лицо со смелостью девочки, еще не считающей и не чувствующей себя женщиной, она одновременно и перекрестилась и поблагодарила его, и вышло это так уморительно, что молодой человек расхохотался. Рассмеялась и сама Консуэло, но вдруг, как будто вспомнив, что ее кто-то ждет, она пустилась бегом, в мгновение ока выскочила за дверь и сбежала по ступенькам на улицу.

Тем временем профессор снова спрятал очки в широкий карман жилета и обратился к притихнувшим ученицам.

– Стыдно вам, красавицы! – сказал он. – Эта девочка – а она моложе всех вас и пришла в мой класс последней – только одна и может правильно пропеть соло, да и в хоре, какую бы какофонию вы ни разводили вокруг нее, я неукоснитель-

---

[3] Хорошо, синьор профессор (*лат.*).

но слышу ее голос, чистый и верный, как нота клавесина. И это потому, что у нее есть усердие, терпение и то, чего нет и не будет ни у кого из вас: у нее есть понимание!

– Не мог не выпалить своего любимого словечка, – крикнула Клоринда, лишь только маэстро ушел. – Во время урока он повторил его только тридцать девять раз и, наверно, заболел бы, если б не дошел до сорокового.

– Чему тут удивляться, если эта Консуэло делает успехи? – сказала Джульетта. – Она так бедна, что только и думает, как бы поскорее научиться чему-нибудь и начать зарабатывать на хлеб.

– Мне говорили, что ее мать цыганка, – добавила Микелина, – и что девочка пела на улицах и на дорогах, перед тем как попасть сюда. Нельзя отрицать, что у нее прекрасный голос, но у бедняжки нет и тени ума! Она долбит все наизусть, рабски следует указаниям профессора, а все остальное довершают ее здоровые легкие.

– Пусть у нее будут самые лучшие легкие и самый замечательный ум в придачу, – сказала красавица Клоринда, – я отказалась бы от всех этих преимуществ, если б мне пришлось поменяться с ней наружностью.

– Вы потеряли бы не так уж много! – возразила Констанца, не особенно стремившаяся признавать красоту Клоринды.

– Она совсем нехороша собой, – добавила еще одна. – Желтая, как пасхальная свечка, а глаза большие, но вовсе невыразительные. И вдобавок всегда так плохо одета! Нет,

бесспорно: она дурнушка.

– Бедняжка! Какая она несчастная! Ни денег, ни красоты!

Так девушки закончили свой панегирик в честь Консуэло и, пожалев ее, вознаградили себя за то, что восхищались ею, когда она пела.

Глава II

Это происходило в Венеции около ста лет тому назад, в церкви Мендиканти, где знаменитый маэстро Порпора только что закончил первую репетицию своей музыки к большой вечерне, которую он должен был дирижировать в следующее воскресенье, в день Успения. Молоденькие хористки, которых он так сурово пробрал, были питомицами одной из тех школ, где девушек обучали на казенный счет, а потом давали пособие для замужества или для поступления в монастырь, как сказал Жан-Жак Руссо, восхищавшийся их великолепными голосами незадолго до описываемого времени и в этой самой церкви. Ты хорошо помнишь, читатель, все эти подробности и прелестный эпизод, рассказанный им самим по этому поводу в восьмой книге его «Исповеди». Я не стану повторять здесь эти очаровательные страницы, после которых ты, конечно, не пожелал бы снова приняться за мои. На твоем месте я поступил бы точно так же, друг читатель. Надеюсь, однако, что в данную минуту у тебя нет под рукою «Исповеди», и продолжаю свое повествование.

Не все эти молодые девушки были одинаково бедны, и, несомненно, несмотря на неподкупность администрации, в школу проникали иногда и такие, которые не так уж нуждались, но использовали возможность получить за счет республики артистическое образование и недурно пристроиться.

Поэтому-то иные из них и позволяли себе пренебрегать священными законами равенства, благодаря которым им удалось прокрасться на те самые скамьи, где сидели их сестры победнее. Не все они следовали суровым предначертаниям республики относительно их будущей судьбы. Нередко случалось, что какая-либо из них, воспользовавшись даровым воспитанием, отказывалась затем от пособия, стремясь к иной, более блестящей карьере. Видя, что подобные вещи неизбежны, администрация допускала иногда к обучению музыке детей бедных артистов, которым бродячая жизнь не позволяла оставаться надолго в Венеции. К числу таких относилась и маленькая Консуэло, родившаяся в Испании и попавшая оттуда в Италию через Санкт-Петербург, Константинополь, Мексику или Архангельск, а может быть, каким-нибудь другим, еще более прямым путем, доступным лишь для цыган.

Однако цыганкой она была только по профессии и по прозвищу, так как происхождения она была не цыганского, не индийского и, во всяком случае, не еврейского. В ней текла хорошая испанская кровь, и происходила она, несомненно, из мавританского рода, так как отличалась смуглостью и была вся проникнута спокойствием, совершенно чуждым бродячим племенам. Я отнюдь не хочу сказать что-либо дурное по поводу этих племен. Если бы образ Консуэло был выдуман мною, то, весьма возможно, я заимствовал бы его у народа Израиля или у еще более древних народов, но она при-

надлежала к потомкам Измаила, все ее существо говорило об этом. Мне не довелось ее увидеть, ибо мне не исполнилось еще ста лет, но так утверждали, и я не могу это опровергнуть. У нее не было лихорадочной порывистости, перемежающейся с припадками апатичной томности, характерной для zingarelle[4]. Не было у нее и вкрадчивого любопытства и назойливого попрошайничанья бедной ebbrea[5]. Она была спокойна, как вода лагун, и вместе с тем не менее подвижна, чем легкие гондолы, беспрестанно скользящие по их поверхности.

Так как росла Консуэло быстро, а мать ее была чрезвычайно бедна, то она всегда носила платья, слишком короткие для ее возраста, и это придавало длинноногой четырнадцатилетней девочке особую дикую грацию и делало ее походку такой непринужденной, что глядеть на нее было и приятно и жалко. Быть может, ее ножка была мала, но этого никто не знал – до того дурна была ее обувь. Зато ее стан, затянутый в корсаж, слишком тесный и лопнувший по швам, был строен и гибок, словно пальма, но без округлости форм, без всякой соблазнительности. Бедная девочка и не думала об этом, она привыкла к тому, что все белокурые, белые и полненькие дочери Адриатики вечно звали ее обезьяной, лимоном, чернушкой. Ее лицо, совершенно круглое, бледное и незначительное, никого бы не поразило, если б короткие,

---

[4] Цыганок (*итал.*).

[5] Еврейки (*итал.*).

густые, закинутые за уши волосы и серьезный вид человека, равнодушного ко всему внешнему миру, не придавали ей некоторой оригинальности, правда, малоприятной. Непривлекательные лица постепенно теряют способность нравиться. Человек, обладающий таким лицом, для всех безразличный, начинает относиться безразлично к своей наружности и этим еще более отталкивает от себя взоры. Красивый следит за собой, прихорашивается, приглядывается к себе, точно постоянно смотрится в воображаемое зеркало. Некрасивый забывает о себе и становится небрежным. Но есть два вида некрасивости: одна, страдая от общего неодобрения, завидует и злобствует, – это и есть настоящая, истинная некрасивость, другая, наивная, беззаботная, мирится со своим положением и равнодушна к производимому ею впечатлению, – подобная некрасивость, не радуя взора, может привлекать сердца: такою именно и была некрасивость Консуэло. Люди великодушные, принимавшие в ней участие, на первых порах сожалели, что она некрасива, потом, как бы одумавшись, бесцеремонно гладили ее по голове, чего не сделали бы по отношению к красивой, и говорили: «Зато ты, кажется, славная девочка». Консуэло была довольна и этим, хотя отлично понимала, что такая фраза значит: «Больше у тебя ничего нет».

Между тем красивый молодой синьор, протянувший Консуэло кропило со святой водой, продолжал стоять у кропильницы, пока все ученицы одна за другой не прошли ми-

мо него. Он разглядывал всех с большим вниманием, и, когда самая красивая из них, Клоринда, приблизилась к нему, он решил подать ей святой воды и омочил пальцы, чтобы иметь удовольствие прикоснуться к ее пальчикам. Молодая девушка, покраснев от чувства удовлетворенного тщеславия, ушла, бросив ему смущенный и в то же время смелый взгляд, отнюдь не выражавший ни гордости, ни целомудрия.

Как только ученицы скрылись за оградой монастыря, учтивый молодой синьор вернулся на середину церкви и, приблизившись к профессору, медленно спускавшемуся с хоров, воскликнул:

– Клянусь Бахусом, дорогой маэстро, вы мне скажете, которая из ваших учениц только что пела «Salve, Regina»!

– А зачем вам это знать, граф Дзустиньяни? – спросил профессор, выходя вместе с ним из церкви.

– Для того, чтобы вас поздравить, – ответил молодой человек. – Я давно уже слежу не только за вашими вечерними службами, но и за вашими занятиями с ученицами, – вы ведь знаете, какой я горячий поклонник церковной музыки. И уверяю вас, я впервые слышу Перголезе в таком совершенном исполнении, а что касается голоса, то это самый прекрасный, какой мне довелось слышать в моей жизни.

– Клянусь Богом, это так, – проговорил профессор с самодовольной важностью, насладившись в то же время большой понюшкой табаку.

– Скажите же мне имя неземного существа, которое при-

вело меня в такой восторг, – настаивал граф. – Вы строги к себе, никогда не бываете довольны, но надо же признаться, что свою школу вы сделали одной из лучших в Италии: ваши хоры превосходны, а солистки очень хороши. Однако музыка, которую вы даете исполнять своим ученицам, так возвышенна, так сурова, что редко кто из них может передать всю ее красоту…

– Они не могут передать эту красоту, потому что не чувствуют ее сами, – с грустью промолвил профессор. – В свежих, звучных, сильных голосах, слава Богу, недостатка у нас нет, а вот что до музыкальных натур – увы, они так редки, так несовершенны…

– Ну, одна-то у вас есть, и притом изумительно одаренная, – возразил граф. – Великолепный голос! Сколько чувства, какое умение! Да назовите же мне ее, наконец!

– А ведь правда, она доставила вам удовольствие? – спросил профессор, избегая ответа.

– Она растрогала меня, довела до слез… И при помощи таких простых средств, так натурально, что вначале я даже не мог понять, в чем дело. Но потом, о мой дорогой учитель, я вспомнил все то, что вы так часто повторяли, преподавая мне ваше божественное искусство, и впервые постиг, насколько вы были правы.

– А что же такое я вам говорил? – торжествующе спросил маэстро.

– Вы говорили мне, что великое, истинное и прекрасное

в искусстве – это простота, – ответил граф.

– Я упоминал вам также о блеске, изысканности и изощренности и говорил, что нередко приходится аплодировать этим качествам и восхищаться ими.

– Конечно. Однако вы прибавляли, что эти второстепенные качества отделяет от истинной гениальности целая пропасть. Так вот, дорогой учитель, ваша певица – она одна – стоит по ту сторону пропасти, а все остальные – по эту!

– Это верно и к тому же хорошо сказано, – потирая от удовольствия руки, заметил профессор.

– Ну, а ее имя? – настаивал граф.

– Чье имя? – лукаво переспросил профессор.

– Ах, Боже мой! Да имя сирены, или, вернее, архангела, которого я только что слушал.

– А для чего вам это имя, граф? – строго спросил Порпора.

– Скажите, господин профессор, почему вы хотите сделать из него тайну?

– Я объясню вам причину, если вы предварительно откроете мне, почему так настойчиво добиваетесь узнать это имя.

– Разве не естественно непреодолимое желание узнать, увидеть и назвать то, чем восхищаешься?

– Так позвольте же мне уличить вас, любезный граф, это не единственное ваше основание: вы большой любитель и знаток музыки, это я знаю, но к тому же вы еще и владелец театра Сан-Самуэле. Не столько ради выгоды, сколько ради

славы вы привлекаете к себе лучшие таланты и лучшие голоса Италии. Вы прекрасно знаете, что мы хорошо учим, что у нас серьезно поставлено дело и что из нашей школы выходят большие артистки. Вы уже похитили у нас Кориллу, а так как не сегодня-завтра у вас ее, в свою очередь, может переманить какой-нибудь другой театр, то вы и бродите вокруг нашей школы, чтобы высмотреть, не подготовили ли мы для вас новой Кориллы… Вот где истина, господин граф. Сознайтесь, что я сказал правду.

– Ну, а если бы и так, дорогой маэстро, – возразил граф, улыбаясь, – какое зло усматриваете вы в этом?

– А такое зло, господин граф, что вы развращаете, вы губите эти бедные создания.

– Однако что вы хотите этим сказать, свирепый профессор? С каких пор вы стали хранителем этих хрупких добродетелей?

– Я хочу сказать то, что есть в действительности, господин граф. Я не забочусь ни об их добродетели, ни о том, насколько прочна эта добродетель: я просто забочусь об их таланте, который вы извращаете и унижаете на подмостках своих театров, давая им исполнять пошлую музыку дурного вкуса. Разве это не ужас, не позор видеть, как та самая Корилла, которая уже начинала было по-настоящему понимать серьезное искусство, опустилась от духовного пения к светскому, от молитвы – к игровым песенкам, от алтаря – к подмосткам, от великого – к смешному, от Аллегри и Палестрины –

к Альбиони и к цирюльнику Аполлини?

– Итак, вы настолько непреклонны, что отказываетесь открыть мне имя этой девушки, хотя я не могу иметь на нее никаких видов, пока не узнаю, есть ли у нее качества, необходимые для сцены?

– Решительно отказываюсь.

– И вы думаете, что я не открою его сам?

– Увы! Раз уж вы задались этой целью, вы откроете его, но знайте, что я, со своей стороны, сделаю все возможное, чтобы помешать вам похитить у нас эту певицу.

– Прекрасно, маэстро, только вы уже наполовину побеждены: я видел ваше таинственное божество, я его угадал, узнал…

– Вот как! Вы убеждены в этом? – недоверчиво и сдержанно промолвил профессор.

– Глаза и сердце открыли мне ее, и в доказательство я сейчас набросаю ее портрет: она высока ростом – это, кажется, самая высокая из всех ваших учениц, – бела, как снег на вершине Фриуля, румяна, как небосклон на заре прекрасного дня. У нее золотистые волосы, синие глаза и приятная полнота. На одном пальчике она носит колечко с рубином, – прикоснувшись к моей руке, он обжег меня, точно искра волшебного огня.

– Браво! – насмешливо воскликнул Порпора. – В таком случае мне нечего от вас таить: имя этой красавицы – Клоринда. Идите же к ней с вашими соблазнительными предло-

жениями, дайте ей золота, бриллиантов, тряпок! Она, конечно, охотно согласится поступить в вашу труппу и, вероятно, сможет заменить Кориллу, так как нынче публика ваших театров предпочитает красивые плечи красивым звукам, а дерзкие взгляды – возвышенному уму.

– Неужели я так ошибся, дорогой учитель, и Клоринда всего лишь заурядная красотка? – с некоторым смущением проговорил граф.

– А что, если моя сирена, мое божество, мой архангел, как вы ее называете, совсем нехороша собой? – лукаво спросил маэстро.

– Если она урод, умоляю вас, не показывайте ее мне; моя мечта была бы слишком жестоко разбита. Если она только некрасива, я бы еще мог обожать ее, но не стал бы приглашать в свой театр: на сцене талант без красоты часто является для женщины несчастьем, борьбой, пыткой. Однако что это вы там увидели, маэстро, и почему вы вдруг остановились?

– Мы как раз у пристани, где обычно стоят гондолы, но сейчас я не вижу ни одной. А вы, граф, куда смотрите?

– Поглядите вон на того юнца, что сидит подле довольно невзрачной девчушки; не мой ли это питомец Андзолетто, самый смышленый и самый красивый из наших юных плебеев? Обратите на него внимание, маэстро. Это так же интересно для вас, как и для меня. У этого мальчика лучший тенор в Венеции, страстная любовь к музыке и выдающиеся

способности. Я давно уже хочу поговорить с вами и просить вас позаниматься с ним. Вот его я действительно прочу для своего театра и надеюсь, что через несколько лет буду вознагражден за свои заботы о нем. Эй, Дзото, поди сюда, мой мальчик, я представлю тебя знаменитому маэстро Порпоре.

Андзолетто вытащил свои босые ноги из воды, где они беззаботно болтались в то время, как он просверливал толстой иглой хорошенькие раковины, которые в Венеции так поэтично называют fiori di mare[6]. Вся его одежда состояла из очень поношенных штанов и довольно тонкой, но совершенно изодранной рубашки, сквозь которую проглядывали его белые, точеные, словно у юного Вакха, плечи. Он действительно отличался греческой красотой молодого фавна, а в лице его было столь часто встречающееся в языческой скульптуре сочетание мечтательной грусти и беззаботной иронии. Курчавые и вместе с тем тонкие белокурые волосы, позолоченные солнцем, бесчисленными короткими крутыми локонами вились вокруг его алебастровой шеи. Все черты его лица были идеально правильны, но в пронзительных черных, как чернила, глазах проглядывало что-то слишком дерзкое, и это не понравилось профессору. Услышав голос Дзустиньяни, мальчик вскочил, бросил все ракушки на колени девочки, сидевшей с ним рядом, и в то время как она, не вставая с места, продолжала нанизывать их на нитку, вперемежку с золотистым бисером, подошел к графу и, по

---

[6] Морскими цветами (*итал.*).

местному обычаю, поцеловал ему руку.

– В самом деле, красивый мальчик! – проговорил профессор, ласково потрепав его по щеке. – Но мне кажется, что он занимается уж слишком ребяческим для его лет делом; ведь ему, наверное, лет восемнадцать?

– Скоро будет девятнадцать, signor profesor[7], – ответил Андзолетто по-венециански. – А вожусь я с раковинами только потому, что хочу помочь маленькой Консуэло, которая делает из них ожерелья.

– Я и не подозревал, Консуэло, что ты любишь украшения, – проговорил Порпора, подходя с графом и Андзолетто к своей ученице.

– О, это не для меня, господин профессор, – ответила Консуэло, приподнимаясь только наполовину, чтобы не уронить в воду раковины из передника, – это ожерелья для продажи, чтобы купить потом риса и кукурузы.

– Она бедна, и ей еще приходится кормить свою мать, – пояснил Порпора. – Послушай, Консуэло, – сказал он девочке, – когда вам с матерью придется туго, обращайся ко мне, но я запрещаю тебе просить милостыню, поняла?

– О, вам незачем запрещать ей это, signor profesor, – с живостью возразил Андзолетто. – Она сама никогда бы не стала просить милостыню, да и я не допустил бы этого.

– Но ведь у тебя самого ровно ничего нет! – сказал граф.

– Ничего, кроме ваших милостей, ваше сиятельство, но я

---

[7] Господин профессор (*итал.*).

делюсь с этой девочкой.

– Она твоя родственница?

– Нет, она чужестранка, это Консуэло.

– Консуэло? Какое странное имя, – заметил граф.

– Прекрасное имя, синьор, – возразил Андзолетто, – оно означает утешение…

– В добрый час! Как видно, она твоя подруга?

– Она моя невеста, синьор.

– Каково! Эти дети уже мечтают о свадьбе.

– Мы обвенчаемся в тот день, когда вы, ваше сиятельство, подпишете мой ангажемент в театр Сан-Самуэле.

– В таком случае, дети мои, вам придется еще долго ждать.

– О, мы подождем, – проговорила Консуэло с веселым спокойствием невинности.

Граф и маэстро еще несколько минут забавлялись наивными ответами юной четы, затем профессор велел Андзолетто прийти к нему на следующий день, обещав послушать его, и они ушли, предоставив юношу его серьезным занятиям.

– Как вы находите эту девочку? – спросил профессор графа.

– Я уже видел ее сегодня и нахожу, что она достаточно некрасива, чтобы оправдать пословицу: «В глазах восемнадцатилетнего мальчика каждая женщина – красавица».

– Прекрасно, – ответил профессор, – теперь я могу вам открыть, что ваша божественная певица, ваша сирена, ваша

таинственная красавица – Консуэло.

– Как? Она? Эта замарашка? Этот черный худенький кузнечик? Быть не может, маэстро!

– Она самая, сиятельный граф. Разве вы не находите, что она будет соблазнительной примадонной?

Граф остановился, обернулся, еще раз издали поглядел на Консуэло и, сложив руки, с комическим отчаянием воскликнул:

– Праведное небо! Как можешь ты допускать подобные ошибки, наделяя огнем гениальности таких дурнушек!

– Значит, вы отказываетесь от ваших преступных намерений? – спросил профессор.

– Разумеется.

– Вы обещаете мне это? – добавил Порпора.

– О, клянусь вам! – ответил граф.

Глава III

Рожденный под небом Италии, взращенный волею случая, как морская птица, бедный сирота, заброшенный, но все же счастливый в настоящем и верящий в будущее, Андзолетто, этот несомненный плод любви, этот девятнадцатилетний красавец юноша, беспрепятственно проводивший целые дни около маленькой Консуэло на каменных плитах Венеции, разумеется, не был новичком в любви. Познав радости легких побед, не раз выпадавших ему на долю, он бы уже истаскался и, быть может, развратился, если бы жил в нашем печальном климате и если бы природа не одарила его таким крепким организмом. Однако, рано развившись физически, предназначенный для долгой и сильной зрелости, он еще сохранил чистое сердце, а девственность его сдерживалась волей. Случайно он повстречался с маленькой испанкой, набожно распевавшей молитвы перед изваянием Мадонны, и, чтобы поупражнять свой голос, он стал петь с нею при свете звезд целыми вечерами. Встречались они и на песчаном взморье Лидо, собирая ракушки: он – для еды, она – чтобы делать из них четки и украшения; встречались и в церквах, где она молилась Богу всем сердцем, а он во все глаза смотрел на красивых дам. И при всех этих встречах Консуэло казалась ему такой доброй, кроткой, услужливой и веселой, что он, сам не зная, как и почему, сделался ее другом и по-

стоянным спутником. До сих пор Андзолетто знал в любви одно лишь наслаждение. К Консуэло он испытывал чувство дружбы, но, будучи сыном народа и страны, где страсти довлеют над привязанностями, не сумел дать этой дружбе иное название, кроме любви. Когда он заговорил об этом с Консуэло, та лишь заметила: «Если ты в меня влюблен, значит, ты хочешь на мне жениться?». На что он ответил: «Конечно, раз ты согласна, мы поженимся».

С тех пор это было делом решенным. Быть может, для Андзолетто любовь эта и была забавой, но Консуэло верила в нее самым серьезным образом. Несомненно одно: юное сердце Андзолетто уже знало те противоречивые чувства, те запутанные, сложные переживания, которые нарушают покой людей пресыщенных и вносят разлад в их существование.

Предоставленный своим бурным инстинктам, стремясь к наслаждениям, любя лишь то, что могло дать ему счастье, и ненавидя все, что мешает веселью, будучи артистом до мозга костей, то есть жаждая жить и ощущая жизнь с необычной остротой, он пришел к выводу, что любовницы заставляют его испытывать все муки и опасности страсти, не умея внушить ему по-настоящему эту страсть. Однако, влекомый вожделением, он время от времени сходился с женщинами, но скоро бросал их от пресыщения или с досады. А потом, растратив недостойно, низменно избыток сил, этот странный юноша снова ощущал потребность в обществе своей кроткой подруги, в чистых, светлых излияниях. Он мог уже сказать,

как Жан-Жак Руссо: «Поистине, нас привязывает к женщинам не столько разврат, сколько удовольствие жить подле них». Итак, не отдавая себе отчета в том очаровании, которое влекло его к Консуэло, еще не умея воспринимать прекрасное, не зная даже, хороша она собой или дурна, Андзолетто забавлялся с ней детскими играми, как мальчик, но в то же время свято уважал ее четырнадцать лет, как мужчина, и вел с ней среди толпы, на мраморных ступенях дворцов и на каналах Венеции, жизнь такую же счастливую, такую же чистую, такую же уединенную и почти такую же поэтичную, какой была жизнь Павла и Виргинии в померанцевых рощах пустынного острова. Пользуясь неограниченной и опасной свободой, не имея семьи и бдительных нежных матерей, которые заботились бы об их нравственности, не имея преданного слуги, который бы отводил их по вечерам домой, не имея даже собаки, могущей предупредить их об опасности, предоставленные всецело самим себе, они, однако, избежали падения. В любой час и в любую погоду носились они по лагунам вдвоем в открытой лодке, без весел и руля; без проводника, без часов, забывая о приливе, бродили они по лиману; до поздней ночи пели на перекрестках улиц, у обвитых виноградом часовен, а постелью им служили до утра белые плиты мостовой, еще сохранившие тепло солнечных лучей. Остановившись перед театром Пульчинеллы, забыв, что еще не завтракали и вряд ли будут ужинать, они с пылким вниманием следили за фантастической драмой прекрасной Ко-

ризанды, царицы марионеток. Неудержимо веселились они во время карнавала, не имея ни малейшей возможности по-настоящему нарядиться: он – вывернув наизнанку старую куртку, она – прицепив себе на голову пышный бант из старых лент. Они роскошно пировали на перилах моста или на лестнице какого-нибудь дворца, уплетая морские фрукты[8], стебли укропа и лимонные корки. Словом, не зная опасных ласк, не чувствуя себя влюбленными друг в друга, они вели такую же веселую и привольную жизнь, какую могли бы вести два неиспорченных подростка одного возраста и одного пола. Шли дни и годы. У Андзолетто появлялись новые любовницы, Консуэло же и не подозревала, что можно любить иной любовью, а не так, как любили ее. Став взрослой девушкой, она даже не подумала, что следует быть более сдержанной с женихом. А он, видя, как она растет и меняется на его глазах, не испытывал никакого нетерпения, не хотел никакой перемены в их дружбе, такой безоблачной и спокойной, свободной от всяких тайн и угрызений совести.

Прошло уже четыре года с того времени, как профессор Порпора и граф Дзустиньяни представили друг другу своих маленьких музыкантов. Граф и думать забыл о юной исполнительнице духовной музыки. Профессор тоже забыл о существовании красавца Андзолетто, так как, проэкзаменовав его тогда, не нашел в нем ни одного из качеств, требуемых им

---

[8] Разные сорта дешевых ракушек, любимое кушанье простого народа в Венеции. (*Прим. автора*.)

от ученика: прежде всего – серьезного и терпеливого склада ума, затем – скромности, доведенной до полного самоуничтожения ученика перед учителем, и, наконец, – отсутствия какого бы то ни было предварительного музыкального обучения. «Не хочу даже и слышать об ученике, – говорил он, – чей мозг не будет в моем полном распоряжении, как чистая скрижаль, как девственный воск, на котором я могу сделать первый оттиск. У меня нет времени на то, чтобы в течение целого года отучать ученика, прежде чем начать его учить. Если вы желаете, чтобы я писал на аспидной доске, дайте мне ее чистой, да и это еще не все: она должна быть хорошего качества. Если она слишком толста, я не смогу писать на ней; если она слишком тонка, я ее тотчас разобью». Одним словом, хоть Порпора и признал необычайные способности юного Андзолетто, но после первого же урока объявил графу с некоторой досадой и ироническим смирением, что метода его не годится для столь продвинутого ученика и что достаточно взять первого попавшегося учителя, чтобы затормозить и замедлить естественные успехи и неодолимый рост этой великолепной индивидуальности.

Граф направил своего питомца к профессору Меллифьоре, и тот, переходя от рулад к каденциям, от трели к группето, довел блестящие данные своего ученика до полного развития. Когда Андзолетто исполнилось двадцать три года, он выступил в салоне графа, и все слушавшие его нашли, что он может с несомненным успехом дебютировать в театре Сан-

Самуэле на первых ролях.

Однажды вечером все аристократы-любители и все самые знаменитые артисты Венеции были приглашены присутствовать на последнем, решающем испытании. Впервые в жизни Андзолетто сбросил свое плебейское одеяние, облекся в черный фрак, шелковый жилет, высоко зачесал и напудрил свои прекрасные волосы, надел башмаки с пряжками и, приосанившись, на цыпочках проскользнул к клавесину. Здесь, при свете сотни свечей, под взглядами двухсот или трехсот пар глаз, он, выждав вступление, набрал в легкие воздуха и с присущими ему смелостью и честолюбием ринулся со своим грудным «до» на то опасное поприще, где не жюри и не знатоки, а публика держит в одной руке пальмовую ветвь, а в другой – свисток.

Нечего говорить, что Андзолетто волновался в душе, но его волнение почти не было заметно: его зоркие глаза, украдкой вопрошавшие женские взоры, прочли в них безмолвное одобрение, в котором редко отказывают молодому красавцу, и едва лишь до него донесся одобрительный шепот любителей, удивленных мощностью тембра его голоса и легкостью вокализации, как радость и надежда переполнили все его существо. Андзолетто, до сих пор учившийся и выступавший в заурядной среде, первый раз в жизни почувствовал, что он человек незаурядный, и, в восторге от сознания своего успеха, запел с поразительной силой, своеобразием и огнем. Конечно, вкус его не всегда был тонок, а исполнение

на протяжении всей арии не всегда безупречно, но он всякий раз исправлял свои промахи смелостью приемов и порывами вдохновения. Он не передал те эффекты, о которых мечтал композитор, но нашел новые, о которых никто не думал – ни автор, их создавший, ни профессор, их истолковавший, и никто из виртуозов, ранее исполнявших эту вещь. Эти дерзкие находки захватили и увлекли всех. За один новый оттенок ему прощали десять промахов, за одно проявление индивидуального чувства – десять нарушений методы. Так в искусстве малейший проблеск таланта, малейшее стремление к новым завоеваниям покоряет людей быстрее, нежели все заученные, общеизвестные приемы.

Быть может, никто даже не отдавал себе отчета в том, что именно вызвало такой энтузиазм, но все были охвачены им. Корилла выступила в начале вечера с большою арией, прекрасно спела, и ей много аплодировали, но успех молодого дебютанта настолько затмил ее собственный, что она пришла в ярость. Осыпанный похвалами и комплиментами, Андзолетто вернулся к клавесину, около которого она сидела, и, наклонившись к ней, проговорил почтительно и вместе с тем смело:

– Неужели у вас, царица пения, царица красоты, не найдется ни одного одобрительного взгляда для несчастного, который трепещет перед вами и обожает вас?

Примадонна, удивленная такой дерзостью, посмотрела в упор на красивое лицо, которое до сих пор едва удостаива-

ла взглядом, – какая тщеславная женщина на вершине славы и успеха обратит внимание на безродного, бедного юношу? Теперь, наконец, она его заметила и поразилась его красоте. Его огненный взор проник ей в душу. Побежденная, очарованная, она в свою очередь бросила на него долгий многозначительный взгляд, и этот взгляд явился как бы печатью на патенте его новой славы. В этот памятный вечер Андзолетто покорил всех своих слушателей и обезоружил самого грозного своего врага, ибо прекрасная певица царила не только на сцене, но и в администрации театра и даже в самом кабинете графа Дзустиньяни.

Глава IV

В этом взрыве единодушных и даже несколько преувеличенных аплодисментов, вызванных голосом и манерою дебюта, только один из слушателей – он сидел на кончике стула, сжав колени и неподвижно вытянув на них руки, точно египетское божество, – оставался молчаливым, как сфинкс, и загадочным, как иероглиф; то был ученый профессор и знаменитый композитор Порпора. В то время как его учтивый коллега профессор Меллифьоре, приписывая себе всю честь успеха Андзолетто, позировал перед дамами и низко кланялся мужчинам, благодаря даже за взгляд, профессор духовной музыки сидел, опустив глаза в землю, насупив брови, стиснув губы, словно погруженный в глубокое раздумье. Когда все общество, приглашенное в этот вечер на бал к догарессе, понемногу разъехалось и у клавесина остались только особенно рьяные любители музыки, несколько дам и самых известных артистов, Дзустиньяни подошел к строгому маэстро.

– Дорогой профессор, – сказал он, – вы слишком сурово смотрите на все новое, и ваше молчание меня не пугает. Вы упорно хотите остаться глухим к чарующей нас светской музыке и к ее новым приемам, но ваше сердце невольно раскрылось и ваши уши восприняли соблазнительный яд.

– Послушайте, signor profesor, – сказала по-венециански

прелестная Корилла, принимая со своим старым учителем ребячливый тон, как в былые годы в scuola[9], – я хочу вас просить об одной милости…

– Прочь, несчастная! – с улыбкой воскликнул маэстро, полусердито отстраняя льнувшую к нему неверную ученицу. – Что общего теперь между нами? Ты больше для меня не существуешь. Дари другим свои обворожительные улыбки и коварное щебетанье.

– Он уже смягчается, – проговорила Корилла, одной рукою взяв за руку дебютанта, а другой не переставая теребить пышный белый галстук профессора. – Поди сюда, Дзото, стань на колени перед самым великим учителем пения во всей Италии. Унизься, смирись перед ним, мой мальчик, обезоружь его суровость. Одно слово этого человека, если ты его добьешься, имеет больше значения, чем все трубы, вещающие о славе.

– Вы были очень строги ко мне, господин профессор, – проговорил Андзолетто, отвешивая ему поклон с несколько насмешливой скромностью. – Однако все эти четыре года я только и жил мыслью добиться того, чтобы вы изменили свой суровый приговор. И если это не удалось мне сегодня, то не знаю, где взять смелость появиться еще раз перед публикой под бременем вашей анафемы.

– Мальчик, предоставь женщинам медоточивые, лукавые речи, – сказал профессор, стремительно поднимаясь с места

---

[9] Школе (*итал.*).

и говоря с такою убедительностью, что его обычно согнутая и мрачная фигура как-то сразу стала и выше и благороднее, – не унижайся никогда до лести даже перед высшими, а тем более перед человеком, мнением которого ты, в сущности, пренебрегаешь. Какой-нибудь час назад ты сидел там, в углу, бедный, неизвестный, робкий; вся твоя будущность держалась на волоске, все зависело от звучности твоего голоса, от мгновенного промаха, от каприза твоих слушателей. И вот случай и порыв в одно мгновение сделали тебя богатым, знаменитым, заносчивым. Артистическая карьера открылась перед тобой. Беги же вперед, пока хватит сил! Но выслушай меня хорошенько, так как в первый, а быть может, и в последний раз ты услышишь правду. Ты на плохой дороге, поешь плохо и любишь плохую музыку. Ты ничего не знаешь, ты ничего не изучил основательно. У тебя есть только техника и легкость. Изображая страсть, ты остаешься холодным. Ты воркуешь и чирикаешь подобно хорошеньким, кокетливым девицам, которым прощают плохое пение ради их жеманства. Ты не умеешь фразировать, у тебя плохое произношение, вульгарный выговор, фальшивый, пошлый стиль. Однако не отчаивайся: хотя у тебя есть все эти недостатки, но есть и то, с помощью чего ты можешь их преодолеть. Ты обладаешь качествами, которые не зависят ни от обучения, ни от работы, в тебе есть то, чего не в силах у тебя отнять ни дурные советы, ни дурные примеры: у тебя есть божественный огонь… гениальность!.. Но, увы, огню этому не суждено

озарить ничего великого, талант твой будет бесплоден… Я прочитал в твоих глазах, в глубине твоей души: у тебя нет преклонения перед искусством, нет веры в великих учителей, нет уважения к великим творениям; ты любишь славу, только славу, и любишь ее исключительно для себя самого. Ты бы мог… ты смог бы… но нет… слишком поздно. Твоя судьба будет судьбой метеора, подобно…

Тут профессор, быстро надвинув на голову шляпу, повернулся и вышел, ни с кем не простившись, поглощенный, очевидно, дальнейшим обдумыванием своего загадочного приговора.

Хотя присутствовавшие и пытались поднять на смех выходку профессора, тем не менее несколько мгновений все испытывали тягостное ощущение чего-то печального, тревожного… Андзолетто, по-видимому, первый перестал думать об этом, несмотря на то, что слова профессора вызвали в нем радость, гордость, гнев и смятение чувств, которым суждено было наложить отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Казалось, он был всецело поглощен одной только Кориллой и так успел убедить ее в этом, что она не на шутку влюбилась в него с первой же встречи. Граф Дзустиньяни не очень ревновал ее, и, быть может, у него были основания не особенно ее стеснять. Больше всего он интересовался блеском и славой своего театра, – не потому, что был жаден к богатству, а потому, что был, как говорится, истым фанатиком изящных искусств. По-моему, это слово определяет весьма

распространенное среди итальянцев чувство, отличающееся большой страстностью, но не всегда умением разграничить хорошее и дурное. Культ искусства – выражение слишком современное, неизвестное сто лет назад, – означает совсем не то, что вкус к изящным искусствам. Граф был человек с артистическим вкусом в том смысле, как это тогда понимали: любитель, и только. Удовлетворение этого вкуса и было главным делом его жизни. Он интересовался мнением публики и стремился заинтересовать ее собою, любил иметь дело с артистами, быть законодателем мод, заставить говорить о своем театре, о своей роскоши, о своей любезности и щедрости. Одним словом, у него была страсть, преобладающая у провинциальной знати, – показное тщеславие. Быть владельцем и директором театра – это был наилучший способ угодить всему городу и доставить ему развлечение. Еще большее удовлетворение получил бы граф, если бы смог угощать за своим столом всю республику! Когда иностранцам случалось расспрашивать профессора Порпору о графе Дзустиньяни, он обыкновенно отвечал: «Это человек, чрезвычайно любящий угощать: в своем театре он подает музыку совершенно так же, как фазанов за своим столом».

Около часа ночи гости начали расходиться.

– Андзоло, где ты живешь? – спросила дебютанта Корилла, оставшись с ним вдвоем на балконе.

При этом неожиданном вопросе Андзолетто покраснел и тут же побледнел. Как признаться этой блестящей, пышной

красавице, что у него нет своего угла? Хотя в этом ему, пожалуй, легче было бы сознаться, чем назвать ту жалкую лачугу, где он ночевал тогда, когда не спал под открытым небом по собственной охоте или по необходимости.

– Что ты нашел такого удивительного в моем вопросе? – смеясь над его смущением, спросила Корилла.

С необыкновенной находчивостью Андзолетто поспешил ответить:

– Я спрашиваю себя, какой королевский дворец, дворец какой волшебницы достоин приютить исполненного гордости смертного, который принес бы туда воспоминания о нежном взгляде Кориллы?

– Что ты, льстец, хочешь этим сказать? – возразила она, устремляя на него самый жгучий взгляд, какой ей удалось извлечь из своего дьявольского арсенала.

– Что это счастье мне еще не дано, но что если б я был этим счастливцем, то, упоенный гордостью, жаждал бы жить между небом и морями, подобно звездам.

– Или подобно cuccali[10]! – громко смеясь, воскликнула певица.

Известно, что морские чайки крайне неприхотливы, и венецианская поговорка приравнивает к ним легкомысленного, взбалмошного человека, как французская – к жуку: «Легкомыслен, как жук».

– Насмехайтесь надо мной, презирайте меня, – ответил

---

[10] Морским чайкам (*итал.*).

Андзолетто, – только думайте обо мне хоть немного.

– Ну, раз ты хочешь говорить со мной одними метафорами, – возразила она, – то я увожу тебя в своей гондоле, и, если ты очутишься далеко от своего дома, пеняй на себя.

– Так вот почему вы интересовались, где я живу, синьора! В таком случае мой ответ будет короток и ясен: я живу на ступеньках вашего дворца.

– Ну, так ступай и жди меня на ступеньках того дворца, в котором мы находимся сейчас, – проговорила Корилла, понизив голос, – а то как бы Дзустиньяни не рассердился на меня за то, что я с такой снисходительностью выслушиваю твой вздор.

В порыве удовлетворенного тщеславия Андзолетто тут же бросился к пристани дворца, а оттуда прыгнул на нос гондолы Кориллы, отсчитывая секунды по быстрому биению своего опьяненного сердца. Но еще до того как Корилла появилась на лестнице, много мыслей пронеслось в лихорадочно работавшем мозгу честолюбивого дебютанта. «Корилла всемогуща, – говорил он себе, – но что, если, понравившись ей, я тем самым навлеку на себя гнев графа? Что, если вследствие моей слишком быстрой победы, он бросит свою легкомысленную любовницу и она потеряет свое могущество?».

И вот, когда раздираемый сомнениями Андзолетто, измеряя взглядом лестницу, по которой он мог бы еще уйти, помышлял уже о бегстве, портик вдруг озарился факелами и красавица Корилла в горностаевой пелерине показалась

на верхних ступеньках, окруженная кавалерами, состязавшимися между собою из-за чести проводить ее, по венецианскому обычаю, до гондолы, поддерживая под круглый локоть.

– А вы что тут делаете? – обратился к растерявшемуся Андзолетто гондольер примадонны. – Входите скорее в гондолу, если это вам дозволено, а не то бегите по берегу: с синьорой идет сам граф.

Андзолетто, не сознавая хорошенько, что он делает, забился в глубину гондолы. Он совсем потерял голову. Но, оказавшись внутри, он представил себе, до чего будет удивлен и рассержен граф, когда, войдя с любовницей в гондолу, увидит там своего дерзкого питомца. Его страх был тем мучительнее, что длился более пяти минут. Синьора, остановившись на середине лестницы, разговаривала, смеялась, спорила со своей свитой относительно какой-то рулады, причем даже громко исполняла ее на разные лады. Ее чистый и звонкий голос реял среди дворцов и куполов канала, подобно тому, как крик петуха, пробудившегося перед зарей, разносится в сельской тиши.

Андзолетто, не в силах переносить дольше такое напряжение, решил прыгнуть в воду со стороны, противоположной лестнице. Он уже опустил было стекло в бархатной черной раме, уже занес ногу за борт, когда второй гондольер, сидевший на корме, нагнулся к нему и прошептал:

– Раз поют, значит, вам надо сидеть смирно и ждать без

страха.

«Я еще не знаю этих обычаев», – подумал Андзолетто и стал ждать, не совсем, впрочем, отделавшись от своих мучительных опасений. Корилла доставила себе удовольствие заставить графа проводить ее до самой гондолы. Уже стоя на носу, она не переставала посылать ему пожелания felicissima notte[11] до тех пор, пока гондола не отчалила от берега. Затем она уселась возле своего нового возлюбленного так спокойно и просто, словно не рисковала ни его жизнью, ни своей судьбой в этой дерзкой игре.

– Какова Корилла? – говорил в это время Дзустиньяни графу Барбериго. – Даю голову на отсечение – она не одна в гондоле.

– А почему вам могла прийти в голову такая мысль? – спросил Барбериго.

– Потому что она всячески настаивала, чтобы я проводил ее до ее дворца.

– И вы не ревнуете?

– Я давно уже излечился от этой слабости и дорого бы дал, если бы наша примадонна серьезно увлеклась кем-нибудь, кто заставил бы ее предпочесть пребывание в Венеции мечтам о путешествии, которым она мне угрожает. Утешиться мне нетрудно, а вот заменить ее, найти другой такой голос, талант – это потруднее: кто, кроме нее, в состоянии так привлекать публику в Сан-Самуэле и доводить ее до неистов-

---

[11] Счастливой ночи (*итал.*).

ства?

– Понимаю. Но кто же, однако, счастливый любовник этой взбалмошной принцессы на сегодняшний вечер?

Тут граф с приятелем стали перебирать всех, на ком Корилла в течение вечера могла остановить свой выбор. Андзолетто был единственный, о ком они не подумали.

Глава V

Между тем жестокая борьба происходила в душе этого счастливого избранника в то время, как ночь и волны в своем тихом мраке несли его в гондоле, растерянного и трепещущего, рядом со знаменитейшей красавицей Венеции. С одной стороны, Андзолетто чувствовал нарастание страсти, еще более разжигаемой удовлетворенным тщеславием; с другой стороны, его пыл охлаждался страхом быстро попасть в немилость, быть осмеянным, выпровоженным, предательски выданным графу. Осторожный и хитрый, как истый венецианец, он, стремясь целых шесть лет попасть на сцену, был хорошо осведомлен о сумасбродстве и властолюбии женщины, стоявшей во главе всех театральных интриг. У него было полное основание предполагать, что его царствование подле нее будет недолгим, и если он не уклонился сразу от этой опасной чести, то только потому, что не предполагал свою победу столь близкой и был покорен и похищен внезапно. Он думал, что его будут лишь терпеть за его галантность, а его уже полюбили – за молодость, красоту, за нарождающуюся славу! «Теперь, чтобы избежать тяжелого и горького пробуждения сразу же после моего торжества, мне ничего больше не остается, как заставить ее бояться меня, – решил Андзолетто с той быстротой соображения и умозаключения, которыми обладают иные удивительно устроен-

ные головы. – Но как я, ничтожный юнец, умудрюсь внушить страх этой воплощенной царице ада?» – думал он. Однако он быстро нашелся – разыграл недоверие, ревность, обиду, и с таким увлечением, с такой страстью, что примадонна была поражена. Всю их пылкую и легкомысленную беседу можно свести к следующему:

Андзолетто. Я знаю, что вы меня не любите и никогда не полюбите. Вот почему я так грустен и сдержан подле вас.

Корилла. А если б я вдруг тебя полюбила?

Андзолетто. Я был бы в полном отчаянии, потому что потом свалился бы с неба прямо в пропасть и, завоевав вас ценою всего моего будущего счастья, потерял бы через какой-нибудь час.

Корилла. Что же заставляет тебя предполагать такое непостоянство с моей стороны?

Андзолетто. Во-первых, мое собственное ничтожество, а во-вторых, все то дурное, что про вас говорят.

Корилла. Кто же так злословит обо мне?

Андзолетто. Все мужчины, так как все они обожают вас. Корилла. Значит, если б я имела глупость влюбиться в тебя и признаться тебе в этом, ты, пожалуй, оттолкнул бы меня?

Андзолетто. Не знаю, найду ли я в себе силы бежать от вас, но если б нашел, то, конечно, никогда не стал бы больше с вами встречаться.

– В таком случае, – сказала Корилла, – мне хочется сделать этот опыт просто из любопытства… Андзолетто, кажет-

ся, я люблю тебя.

– А я этому не верю. И если не бегу от вас, то только потому, что прекрасно понимаю – вы смеетесь надо мной. Но вы не смутите меня подобной игрой и даже не обидите.

– Как видно, ты хочешь одолеть меня хитростью?

– А почему бы нет? Но я не так страшен, раз сам даю вам средство победить меня.

– Какое же?

– Попробуйте повторить серьезно то, что вы сказали в шутку. Я испугаюсь насмерть и обращусь в бегство.

– Какой ты странный! Я вижу, что с тобой надо держать ухо востро. Ты из тех, кому мало аромата розы, а нужно ее сорвать да еще спрятать под стеклянный колпак. Я не ожидала, что в твои годы ты так смел и так упрям!

– И вы презираете меня за это?

– Напротив, благодаря этому ты нравишься мне еще больше. Покойной ночи, Андзолетто, мы скоро увидимся.

Она протянула ему свою красивую руку, и он страстно поцеловал ее.

«Ловко же я отделался», – думал он, мчась по галереям вдоль канала.

Не надеясь в столь поздний час достучаться в лачугу где он обычно ночевал, Андзолетто решил растянуться у первого попавшегося порога и насладиться тем райским покоем, который знают лишь дети и бедняки. Но впервые в жизни он не смог найти ни одной плиты, достаточно чистой, чтоб

решиться на нее лечь. Хоть мостовая Венеции чище и белее всякой другой на свете, все-таки она слишком пыльна для черного костюма из тончайшего сукна и притом самого элегантного покроя. К тому же те самые лодочники, которые обыкновенно утром осторожно шагали по ступенькам лестниц, стараясь не задеть лохмотьев юного плебея, теперь, попадись только он им под ноги могли подшутить над ним, сонным, и нарочно испачкать роскошный наряд дармоеда. Действительно, что бы подумали эти лодочники о человеке, спящем под открытым небом в шелковых чулках, в тонком белье, в кружевном жабо и кружевных манжетах? В эту минуту Андзолетто пожалел о своем милом красно-коричневом шерстяном плаще, правда выцветшем, потертом, но еще плотном и отлично защищающем от нездоровых туманов, поднимающихся по утрам над каналами Венеции. Был конец февраля, и хотя в здешних краях в такое время года солнце уже светит и греет по-весеннему, ночи бывают еще очень холодны. Андзолетто пришло в голову забраться в одну из гондол стоявших у берега, но все они оказались запертыми. Наконец ему удалось открыть дверь одной из них, но, пролезая внутрь он наткнулся на ноги спящего лодочника и свалился на него.

– Какого дьявола! – послышался грубый, охрипший голос из глубины. – Кто вы и что вам надо?

– Это ты, Дзанетто? – отвечал Андзолетто, узнав голос гондольера, обыкновенно относившегося к нему довольно

дружелюбно. – Позволь мне лечь подле тебя и выспаться под твоим навесом.

– А ты кто?

– Андзолетто. Разве ты не узнаешь меня?

– Нет, черт возьми, не узнаю! На тебе такая одежда, какой у Андзолетто быть не может, если только он ее не украл. Проваливай, проваливай! Будь это сам дож, я бы не пустил в свою гондолу человека, у которого есть нарядная одежда и нет угла где спать.

«Пока что, – подумал Андзолетто, – покровительство и милости графа Дзустиньяни принесли мне больше неприятностей, чем пользы. Надо, чтобы мои капиталы соответствовали моим успехам. Пора уж мне иметь в кармане несколько цехинов, не то я не смогу играть ту роль, которую мне дали».

Сильно не в духе, он пошел бродить по пустынным улицам, боясь остановиться, чтобы не схватить простуду, – от усталости и гнева он был весь в испарине.

«Только бы мне не охрипнуть из-за этой истории! – думал он. – Завтра господин граф пожелает, чтобы его чудесного молодого певца прослушал какой-нибудь глупый и строгий критик, и если после бессонной ночи, проведенной без отдыха и крова, я буду хоть немного хрипеть, тот немедленно объявит, что у меня нет голоса. А граф, которому хорошо известно, что это не так, возразит: «Ах, если б вы слышали его вчера!» – «Так он не всегда одинаков?» – спросит другой. – «Не слабого ли он здоровья?» – «А может быть, он

переутомился вчера», – добавит третий. – «В самом деле, он слишком молод для того, чтобы петь несколько дней подряд. Прежде чем выпускать его на сцену, вам, знаете ли, следовало бы подождать, чтобы он окреп и возмужал». И граф ответит ему: «Черт возьми! Если он может охрипнуть от двух арий, то он мне совсем не нужен». И вот тогда, чтобы убедиться, что я силен и здоров, меня изо дня в день заставят упражняться до изнеможения и, желая удостовериться, что у меня здоровые легкие, надорвут мне голос. К черту покровительство знатных вельмож! Ах, поскорее бы мне избавиться от него, и тогда, завоевав славу, расположение публики, пользуясь конкуренцией театров, я стану петь в их салонах уже только из любезности и держать себя с ними на равной ноге».

Так, рассуждая сам с собой, Андзолетто дошел до одной из маленьких площадей, которые в Венеции называют corti, хотя это вовсе не дворы, а скопище домов, выходящих на общую площадку, то, что теперь в Париже называется cite – кварталом. Однако что касается правильности расположения, изящества и благоустройства, то этим дворам далеко до наших современных кварталов. Это скорее маленькие темные площадки иногда представляющие собой тупики, а иногда служащие проходом из одного квартала в другой; они малолюдны, населяют их обычно люди бедные и незначительные, все больше простой люд – рабочие и прачки, развешивающие белье на веревках, протянутых через дорогу, –

неудобство, которое прохожий переносит с большим терпением, ибо знает, что и его самого тоже только терпят, а права на проход он, собственно, не имеет. Горе бедному артисту, вынужденному, отворив окна своей комнатушки вдыхать воздух этих закоулков! В самом центре Венеции, в двух шагах от больших каналов и роскошных зданий перед ним раскрывается вдруг жизнь неимущего класса с ее шумными, деревенскими и не всегда чистоплотными привычками. Горе артисту, если для размышлений ему нужна тишина: от утренней зари до ночи шум, производимый курами, собаками, детьми, играющими и орущими на этом тесном пространстве, бесконечная болтовня женщин на порогах домов, песни рабочих в мастерских – все это не даст ему ни минуты покоя. Хорошо еще, если не явится импровизатор и не начнет горланить свои сонеты и свои песни до тех пор, пока не соберет по одному сольдо с каждого окна. А то придет еще Бригелла, расставит среди площади свой балаганчик и терпеливо примется за повторение диалогов с avocato, с tedesco, с diavolo[12], пока не истощит впустую все свое красноречие перед ободранными ребятишками – счастливыми зрителями, не имеющими ни гроша в кармане, но никогда не стесняющимися поглазеть и послушать.

Зато ночью, когда все смолкает и кроткая луна струит свой беловатый свет на каменные плиты, все эти дома разных эпох, прилепившиеся друг к другу без симметрии и без

---

[12] С адвокатом, с немцем, с дьяволом (*итал.*).

претензии, с таинственными тенями в углублениях, являют собой картину бесконечно живописного беспорядка, полного безотчетного, причудливого изящества. Все хорошеет под лунными лучами; малейший архитектурный эффект усиливается и приобретает оригинальность, каждый балкон, увитый виноградом, переносит нас в романтическую Испанию, населяет воображение приключениями рыцарей плаща и шпаги. А прозрачное небо, в котором поверх этих темных угловатых контуров тонут бледные купола далеких зданий, льет на все какой-то неопределенный, полный гармонии свет, навевая бесконечные грезы…

Как раз в ту минуту, когда все часы, словно перекликаясь, пробили два часа пополуночи, Андзолетто очутился на Корте-Минелли, у церкви Сан-Фантино. Тайный инстинкт привел его к жилищу той, чье имя и образ ни разу не промелькнули в его памяти с самого захода солнца. Не успел он ступить на площадку, как чей-то ласковый голос тихо-тихо назвал его уменьшительным именем, и, подняв глаза, он увидел еле очерченный силуэт на одной из самых жалких террас этого проулка. Еще минута, дверь лачуги отворилась, и Консуэло в ситцевой юбке, закутанная в старую черную шелковую мантилью, когда-то служившую еще ее матери, протянула ему руку, приложив палец другой руки к губам в знак молчания. Ощупью, на цыпочках, взобрались они по ветхой извилистой деревянной лесенке, ведущей на крышу, и, усевшись на террасе, начали беседовать шепотом, прерывая его

поцелуями; этот шепот, словно таинственный ветерок или лепет духов, парочками летающих в тумане, реет каждую ночь вокруг затейливых труб, которые, словно красные чалмы, увенчивают все венецианские дома.

– Как? Ты ждала меня до сих пор, моя бедняжечка? – прошептал Андзолетто.

– Но ведь ты обещал, что придешь рассказать мне о своем сегодняшнем выступлении! Ну, говори, говори же скорее, хорошо ли ты спел, понравился ли, аплодировали ли тебе, получил ли ангажемент?

– А ты, моя добрая Консуэло, скажи, ты не сердилась на меня за долгое отсутствие? Не очень устала, поджидая меня? Не прозябла на этой террасе? Ужинала ли ты? Не очень беспокоилась? Не бранила меня? – расспрашивал Андзолетто, почувствовав угрызения совести при виде доверчивой кротости бедной девушки.

– Нисколько, – ответила она, целомудренно обнимая его за шею. – Если я и сердилась, то не на тебя. Если устала, если озябла, то уже обо всем этом забыла, раз ты со мной. Ужинала ли я? Право, не помню. Беспокоилась ли? И не думала! Бранила ли тебя? Никогда в жизни!

– Ты просто ангел, – сказал Андзолетто, целуя ее. – О мое утешение! Как жестоки и коварны другие сердца!

– Что же случилось? Чем так огорчили сына моей души? – воскликнула Консуэло, вплетая в милое венецианское наречие смелые и странные метафоры своего родного языка.

Андзолетто рассказал обо всем, что произошло, даже о своем ухаживании за Кориллой, и особенно подробно остановился на ее кокетливом поддразнивании. Но он рассказал все это по-своему, передавая лишь то, что не могло огорчить Консуэло: ведь он не хотел изменять и не изменил ей, и все это было почти полной правдой. Однако существует сотая доля правды, которую никогда не смогло выявить ни одно судебное следствие, в которой никогда не сознавался своему адвокату ни один клиент и до которой никогда не добирался ни один судья – разве только случайно, – ибо именно в этих немногих оставшихся неосвещенными фактах или намерениях и кроется повод, причина, цель – словом, ключ всех тех громких процессов, где защита редко бывает на высоте, а приговор редко бывает справедлив, как ни пылко льются речи ораторов, как ни хладнокровны судьи.

Что касается Андзолетто, то незачем говорить, что некоторые свои грешки он обошел молчанием, некоторые жгучие ощущения, пережитые перед публикой, осветил совсем иначе, а о страхах и волнениях, перенесенных им в гондоле, он и вовсе забыл упомянуть. Вероятнее всего, он совсем ничего не рассказал о гондоле, а свои льстивые любезности по адресу примадонны изобразил в виде остроумных насмешек, благодаря которым он спасся от ее опасных сетей, умудрившись притом не разгневать ее. Но, спросите вы, милая читательница, зачем, не желая и не имея возможности рассказать обо всем так, как оно было в действительности, то есть

о сильнейших искушениях, перед которыми он устоял только благодаря осторожности и умелому обхождению, – зачем, повторяю, было этому юному хитрецу пробуждать в Консуэло ревность? Вы задаете этот вопрос, сударыня? Да разве вы – вы сами – не рассказываете возлюбленному или, вернее, избранному вами супругу о всех поклонниках, которых вы отвадили, о всех его соперниках, которыми вы пожертвовали, – и не только до замужества, но и потом, на всех балах, еще вчера, даже сегодня утром?! Послушайте, сударыня, если вы красивы, в чем я не сомневаюсь, могу поручиться головой, что вы поступаете так же, как Андзолетто, и делаете это не для того, чтобы показать себя в выгодном освещении, не для того, чтобы ранить ревнивую душу, не для того, чтобы еще больше возгордился тот, кто и без того уже горд вашей любовью, но просто потому, что приятно иметь подле себя существо, которому можно рассказать все это, как будто исполняя свой долг, и, исповедуясь, похвастаться перед своим духовником. Только все дело в том, сударыня, что вы при этом рассказываете почти все, замалчивая какой-нибудь пустяк – о нем вы никогда не упомянете, – тот ваш взгляд, ту улыбку, которые и вызвали дерзкое объяснение самонадеянного нахала. Вот этим взглядом, этой улыбкой, этим пустячком как раз и была гондола, о которой Андзолетто, с наслаждением переживая вновь все упоение вечера, забыл рассказать Консуэло. Маленькая испанка, к счастью для нее, еще не знала ревности; это горькое, мрачное чувство свойственно

душам, уже много страдавшим, а Консуэло была до сих пор так же счастлива своей любовью, как и добра. Единственное, что произвело на девушку сильнейшее впечатление, – это лестный, но суровый приговор, вынесенный почтенным маэстро, профессором Порпорой, ее обожаемому Андзолетто. Она заставила юношу еще раз повторить подлинные слова учителя и, после того как он снова в точности передал их, долго молчала, глубоко задумавшись.

– Консуэлина, – проговорил Андзолетто, не обращая большого внимания на ее молчание, – становится что-то очень свежо, ты не боишься простудиться? Подумай, дорогая, ведь все наше будущее зависит от твоего голоса – больше даже, чем от моего.

– Я никогда не простужаюсь, – ответила она, – а вот тебе холодно в твоем великолепном костюме. На, закутайся в мою мантилью.

– Чем мне поможет этот кусок дырявой тафты? Я предпочел бы с полчасика погреться в твоей комнате.

– Хорошо, – ответила Консуэло, – но тогда нам придется помолчать, а то соседи услышат нас и осудят. Люди они неплохие и не очень донимают меня за нашу любовь, потому что знают, что ты никогда не приходишь ко мне по ночам. Право, лучше бы ты пошел спать к себе.

– Это немыслимо: до рассвета мне не откроют, и мне придется мерзнуть еще целых три часа. Слышишь, как у меня от холода стучат зубы?

– В таком случае идем, – проговорила Консуэло, вставая. – Я запру тебя в своей комнате, а сама вернусь сюда, на террасу: если кто следит за нами, пусть видит, что я веду себя скромно.

И она действительно провела его к себе в комнату, довольно большую, но убогую; цветы, когда-то написанные на стенах, проглядывали теперь там и сям сквозь второй слой окраски, еще более грубой и почти такой же облезлой. Большая деревянная кровать с матрацем из морской травы, ситцевое стеганое одеяло, безупречно чистое, но все в разноцветных заплатах, соломенный стул, небольшой столик, старинная гитара да филигранное распятие составляли все богатство, оставленное Консуэло матерью. Маленький спинет и куча полуистлевших нот, которыми великодушно ссужал ее профессор Порпора, дополняли обстановку юной артистки, дочери бедной цыганки, ученицы великого артиста, влюбленной в красивого искателя приключений.

Так как в комнате имелся всего один стул, а стол был завален нотами, то Андзолетто не оставалось ничего иного как сесть на кровать, что он сейчас же и сделал без церемоний. Едва он присел на самый край кровати, как, измученный усталостью, повалился на большую подушку.

– Моя дорогая, моя хорошая женушка, – пробормотал он, – я сейчас отдал бы все годы, которые мне остается жить, за один час крепкого сна и все сокровища мира за то, чтобы укрыть ноги краешком этого одеяла. Никогда в жизни мне не

было так холодно, как в этом проклятом фраке; после бессонной ночи меня знобит, словно в лихорадке.

Минуту Консуэло колебалась. Восемнадцатилетняя сирота, совсем одна на свете, она, в сущности, отвечала за свои поступки только перед Богом. Веря в обещания Андзолетто, как в слова Евангелия, она не боялась, что надоест ему или что он бросит ее, если она уступит всем его желаниям. Но под влиянием чувства стыдливости, которое Андзолетто никогда не пытался в ней побороть, она нашла его просьбу немного неделикатной. Тем не менее она подошла к нему и взяла его за руку – рука была холодна, а когда Андзолетто прижал ее руку к своему лбу, девушка почувствовала, что лоб юноши пылает.

– Ты болен! – воскликнула она с тревогой, откинув все прочие соображения. – Если так, конечно, поспи часок на моей постели.

Андзолетто не заставил ее дважды повторять это предложение.

– Добра, как сам Бог, – прошептал он, вытягиваясь на матраце из морской травы.

Консуэло накрыла его одеялом и, притащив из угла кое-какое свое тряпье, прикрыла ему ноги. Укладывая его с материнской заботливостью, она тихонько шепнула ему:

– Андзолетто, кровать, на которой ты сейчас заснешь, – та, где я спала вместе с матерью последние годы ее жизни. Здесь она умерла, и я, одев ее в саван, бодрствовала подле

нее и молилась, пока похоронная лодка не увезла ее от меня навсегда. Так вот, сейчас я расскажу тебе, что она заставила меня обещать ей в свои последние минуты. «Консуэло, – сказала она, – поклянись мне перед распятием, что Андзолетто ляжет в эту кровать на мое место не раньше, чем вы с ним обвенчаетесь в церкви».

– И ты поклялась?

– И я поклялась. Но сейчас, впервые позволив тебе лечь здесь, я уступила тебе не место матери, а мое собственное.

– А ты, бедняжка, так и не заснешь? – воскликнул Андзолетто, делая над собой усилие и приподнимаясь. – Какой я, однако, негодяй! Сейчас же пойду спать на улицу!

– Нет! Нет! – сказала Консуэло, ласково заставляя его лечь обратно на подушку. – Ты болен, а я здорова. Мать моя умерла истинной католичкой, она теперь на небе и постоянно глядит на нас оттуда. Она знает, что ты сдержал данное ей обещание – не покинул меня. Она знает также, что наша любовь не менее чиста теперь, чем была при ней. Она видит, что и в эту минуту я не помышляю ни о чем дурном, ничего дурного не делаю. Упокой, Господи, ее душу!

Тут Консуэло перекрестилась. Андзолетто уже заснул. Уходя, Консуэло прошептала:

– Там, на террасе, я помолюсь, чтобы ты не захворал.

– Добра, как Бог, – в полусне повторил Андзолетто, даже не заметив, что невеста оставила его одного.

Консуэло действительно пошла молиться на террасу. Че-

рез некоторое время она вернулась взглянуть, не хуже ли ему, и, увидя, что он безмятежно спит, долго, сосредоточенно глядела на его красивое бледное лицо, озаренное луной.

Потом, не желая поддаваться сну и вспомнив, что волнения сегодняшнего вечера помешали ей заниматься, она снова зажгла лампу, уселась за свой столик и начала наносить на нотную бумагу задачу по композиции, заданную ей на завтрашний день ее учителем Порпорой.

Глава VI

Граф Дзустиньяни, несмотря на все свое философское безразличие и новые увлечения – Корилла довольно неловко притворялась, будто ревнует его, – далеко не был так равнодушен к вызывающим капризам своей шальной любовницы, как старался это показать. Добрый, слабохарактерный и легкомысленный, он был распутным больше на словах и в силу своего общественного положения. Поэтому он не мог не страдать в глубине души от той неблагодарности, которой эта женщина ответила на его великодушие. И хотя в те времена в Венеции, как и в Париже, ревновать считалось верхом неприличия, его итальянская гордость восставала против смешной и жалкой роли, которую Корилла заставляла его играть.

И вот в тот самый вечер, когда Андзолетто так блестяще выступал в его дворце, граф, весело пошутив со своим другом Барбериго над проказами Кориллы, дождался, пока разъедутся все гости и потушат огни, накинул плащ, взял шпагу и для собственного успокоения направился во дворец, где жила его любовница.

Удостоверившись, что она одна, Дзустиньяни, однако же, не довольствуясь этим, вступил потихоньку в разговор с гондольером, который ставил гондолу примадонны под навес, специально для этого приспособленный. Несколько цехинов

развязали гондольеру язык, и граф скоро убедился, что не ошибся, предположив, что у Кориллы в гондоле был спутник. Выяснить же, кто он такой, ему не удалось. Гондольеру этот человек был неизвестен: он видел Андзолетто бродящим около театра и дворца Дзустиньяни сотни раз, однако ночью, в черном фраке, напудренного, он не узнал его.

Эта непроницаемая тайна еще более увеличила досаду графа. Он даже не мог утешиться усмешками над своим соперником – единственной местью хорошего тона, столь же жестокой в эту эпоху показных увлечений, как убийство в эпоху серьезных страстей. Всю ночь он не сомкнул глаз и еще ранее того часа, когда Порпора начинал свои занятия в консерватории для бедных девушек, направился к школе Мендиканти и прошел в залу, где должны были собраться юные ученицы.

Отношение графа к ученому профессору за последние годы значительно изменилось. Дзустиньяни уже не был его музыкальным противником, – напротив, он был теперь его союзником и даже в некотором роде начальником: граф сделал значительное пожертвование учреждению, которым заведовал ученый маэстро, и в знак благодарности ему было поручено высшее руководство школой. С тех пор эти два друга жили в добром согласии, насколько это было возможно при нетерпимости профессора к модной светской музыке, – нетерпимости, которой он вынужден был несколько изменить, видя, что граф тратит силы и средства на препода-

вание и распространение музыки серьезной. Вдобавок граф поставил на сцене своего театра Сан-Самуэле оперу, которую Порпора только что написал.

– Дорогой маэстро, – сказал граф, отводя его в сторону, – необходимо, чтобы вы не только согласились на похищение одной из ваших учениц, но чтобы вы сами указали ту, которая лучше всех могла бы заменить в театре Кориллу. Артистка утомлена, она теряет голос, ее капризы разоряют нас, не сегодня-завтра она надоест и публике. В самом деле, нужно подумать о том, чтобы найти ей succeditrice[13]. (Прости, дорогой читатель, так говорят по-итальянски, и граф не изобрел неологизма.)

– У меня нет того, что вам нужно, – сухо ответил Порпора.

– Как, маэстро! – воскликнул граф. – Вы опять впадаете в черную меланхолию? Неужели после всех доказательств моей преданности вам и всех жертв с моей стороны вы откажете мне в самом маленьком одолжении, когда я обращаюсь к вам за помощью и советом?

– Я уже не имею на это права, граф, но то, что я вам сказал, – истинная правда. Поверьте человеку, который искренне к вам расположен и желал бы оказать вам услугу: в моей вокальной школе нет никого, кто бы мог заменить Кориллу. Я нисколько не переоцениваю ее, но хотя в моих глазах талант этой женщины и не является истинным талантом, все-таки я не могу не признать за ней знания дела, привычки

---

[13] Преемницу (*итал.*).

к сцене, искусства воздействовать на чувства публики, что приобретается долголетней практикой и не скоро дастся дебютантке.

– Все это так, – сказал граф, – но ведь мы сами создали Кориллу, мы руководили ее первыми шагами, мы заставили публику ее оценить; остальное сделала ее красота. А у вас в школе есть не менее очаровательные ученицы. Уж этого вы не станете отрицать, маэстро! Согласитесь, что Клоринда – красивейшее создание в мире.

– Но она неестественна, жеманна, вообще невыносима… Впрочем, может быть, публика и найдет очаровательным это смешное кривляние. А поет она фальшиво, в ней нет ни души, ни понимания… Правда, у публики тоже нет ушей… Но у Клоринды к тому же нет ни памяти, ни находчивости; ее не спасет от провала даже то легкое шарлатанство, которое удается многим другим.

При этих словах профессор невольно посмотрел на Андзолетто, который, пользуясь своим положением любимца графа, проскользнул в класс, якобы для того, чтобы переговорить с ним, и, стоя поблизости, слушал во все уши.

– Все равно, – сказал граф, не обращая внимания на злобный выпад профессора, – я стою на своем. Давно я не слышал Клоринду. Давайте позовем ее сюда; пусть она придет с пятью-шестью самыми красивыми ученицами. Слушай, Андзолетто, – прибавил он, смеясь, – ты так расфранчен, что тебя можно принять за молодого профессора. Ступай в сад,

выбери там самых хорошеньких учениц и скажи им, что господин профессор и я ждем их здесь.

Андзолетто повиновался. Но шалости ради или с иной целью он привел самых некрасивых. Вот когда Жан-Жак мог бы воскликнуть: «Софи была кривая, а Каттина хромая!»

К этому недоразумению отнеслись добродушно и, посмеявшись под сурдинку, отправили девиц обратно, поручив им прислать учениц по указанию самого профессора. Вскоре появилась группа прелестных девушек с красавицей Клориндой во главе.

– Что за великолепные волосы! – шепнул граф на ухо Порпоре, когда мимо него прошла Клоринда со своими чудесными белокурыми косами.

– На этой голове гораздо больше, чем внутри, – ответил, даже не понижая голоса, суровый критик.

Целый час продолжалась проба голосов, и граф, не в силах выдержать дольше, удалился совершенно подавленный, не забыв наделить певиц самыми любезными похвалами, а профессору шепнуть: «Нечего и думать о таких попугаях».

– Если его сиятельство позволит мне сказать два слова насчет того дела, которое так его беспокоит… – шепнул Андзолетто на ухо графу, спускаясь с ним по лестнице.

– Говори! Уж не знаешь ли ты то чудо, которое мы ищем? – спросил граф.

– Да, ваше сиятельство.

– В глубине какого моря выловишь ты эту жемчужину?

– В глубине класса, куда хитрый профессор Порпора прячет ее в те дни, когда ваше сиятельство делает смотр своему женскому батальону.

– Как? Ты говоришь, что в школе есть бриллиант, и мои глаза никогда еще не видели его блеска? Если маэстро Порпора сыграл со мной такую шутку…

– Бриллиант, о котором я говорю, не принадлежит к числу учениц школы. Это бедная девушка, которая поет только в хоре, когда ее приглашают. Профессор дает ей частные уроки из милости, но еще более из любви к искусству.

– Значит, у этой девушки совершенно исключительные способности: ведь удовлетворить профессора нелегко и он не особенно щедр ни на свое время, ни на свой труд. Может быть, я слышал ее когда-нибудь, но не знал, что это поет именно она?

– Ваше сиятельство слышали ее давно, когда она была еще ребенком. Теперь это взрослая, сильная девушка, прилежная и ученая, как сам профессор; спой она на сцене три такта рядом с Кориллой, ту бы сразу освистали.

– И она никогда не поет публично? Неужели профессор не заставляет ее выступать на своих больших вечернях?

– Раньше профессор охотно слушал ее пение в церкви, но с тех пор как завистливые и мстительные ученицы пригрозили, что прогонят ее с хоров, если только она появится среди них…

– Так, значит, это девушка дурного поведения?

– О Боже милостивый! Она чиста, как двери рая, ваше сиятельство. Но она бедна и низкого происхождения, как и я сам, – однако же ваше сиятельство милостиво приближает меня к себе… А эти злые ведьмы пригрозили профессору пожаловаться вам на то, что он, вопреки правилам школы, приводит в класс частную ученицу.

– Где же я смогу послушать это чудо?

– Прикажите, ваше сиятельство, профессору, чтобы он заставил ее спеть в вашем присутствии, и тогда вы сами будете иметь возможность судить о ее голосе и огромном даровании.

– Твоя уверенность внушает мне желание поверить тебе. Так ты говоришь, что я когда-то слышал ее… Я пытаюсь припомнить, но…

– В церкви Мендиканти в день генеральной репетиции «Salve, Regina» Перголезе…

– Вспомнил! – воскликнул граф. – Голос, выразительность, понимание необыкновенные!

– И ведь она была тогда совсем ребенком, ваше сиятельство, ей было всего четырнадцать лет.

– Да, но… помнится, она некрасива.

– Некрасива, ваше сиятельство? – переспросил изумленный Андзолетто.

– Как ее звали?.. Кажется, это была испанка… еще такое странное имя…

– Консуэло, ваше сиятельство.

– Да, да, это она! Ты хотел тогда жениться на ней, и мы с профессором еще посмеялись над вашим романом. Консуэло! Так, так… любимица профессора, умница, но уж очень некрасива.

– Некрасива? – повторил ошеломленный Андзолетто.

– Ну да, мой мальчик. А ты все еще в нее влюблен.

– Она моя подруга, ваше сиятельство.

– Подругой мы называем и сестру и любовницу. Кто же она тебе?

– Сестра, ваше сиятельство.

– Тогда ты не огорчишься, если я скажу то, что думаю. В твоем предложении нет ни капли здравого смысла. Чтобы заменить Кориллу, надо быть ангелом красоты, твоя же Консуэло, я прекрасно припоминаю теперь, не только некрасива, а просто безобразна.

В эту минуту к графу подошел один из приятелей и отвел его в сторону, а Андзолетто все еще стоял, потрясенный, и, вздыхая, повторял: «Безобразна!».

Глава VII

Вам, быть может, покажется удивительным, любезный читатель, что у Андзолетто не было сложившегося мнения насчет того, красива или некрасива Консуэло, а между тем это правда. Она была существом, столь обособленным от всех и незаметным в Венеции, что никому и в голову не приходило приподнять окутывавший ее покров забвения и мрака, чтобы взглянуть, под какой оболочкой – привлекательной или неприметной – проявляются ее ум и доброта. Порпора, для которого ничего не существовало, кроме искусства, видел в ней только артистку. Соседи ее по Корте-Минелли не ставили ей в укор невинную любовь к Андзолетто: в Венеции не очень строги на этот счет. Но порой они все-таки предупреждали ее, что она будет несчастна с этим бездомным юношей, и советовали ей выйти замуж за честного, смирного рабочего. А так как она обычно отвечала, что ей, девушке без семьи и опоры, Андзолетто как раз и подходит, и к тому же за все шесть лет не было дня, когда бы их не видели вместе, причем молодые люди из этого не делали тайны и никогда не ссорились, то в конце концов все привыкли к их свободному и неразлучному союзу. Никто из соседей никогда не ухаживал за подругой Андзолетто. Оттого ли, что она считалась его невестой, или вследствие ее нищеты? Или, может быть, ее наружность никого не прельщала? Последнее предполо-

жение наиболее правдоподобно.

А между тем всем известно, что девочки-подростки от двенадцати до четырнадцати лет бывают обыкновенно худы, неловки, что в чертах их лица, в фигуре, в движениях нет гармонии. К пятнадцати годам они как бы переделываются, по выражению пожилых француженок из простонародья, и вот та, которая казалась прежде уродом, вдруг становится если не красивой, то по крайней мере миловидной. Есть даже примета, что для будущности девочки невыгодно, если она становится хорошенькой слишком рано…

Вступив в пору юности, Консуэло похорошела, как это происходит со всеми девушками, и про нее перестали говорить, что она некрасива; да она и в самом деле уже не была некрасивой. Но поскольку она не была ни дофиной, ни инфантой и ее не окружали придворные, крича о том, как день ото дня расцветает красота царственного ребенка, поскольку некому было печься с нежною заботой о ее будущности, то никто и не потрудился сказать Андзолетто: «Тебе не придется краснеть перед людьми за твою невесту».

Андзолетто слыхал, что ее звали дурнушкой в те времена, когда это для него не имело никакого значения, а с тех пор как о наружности Консуэло больше не говорили ни хорошо, ни дурно, он и вовсе перестал об этом думать. Его тщеславие было направлено теперь в другую сторону – он мечтал о театре, о славе; ему было не до того, чтобы хвастаться своими любовными победами. К тому же жгучее любопыт-

ство, этот спутник ранней чувственности, было у него в значительной мере утолено. Я говорил уже, что в восемнадцать лет для него не было тайн в любви, в двадцать два года он уже был почти разочарован, и в двадцать два года, как и в восемнадцать, его привязанность к Консуэло, несмотря на несколько поцелуев, сорванных без трепета и возвращенных без смущения, была так же безмятежна, как и прежде.

Такое спокойствие и такая добродетель у молодого человека, вообще ими не отличавшегося, объяснялись тем, что беспредельная свобода, которой, как упоминалось в начале этого рассказа, наслаждалась юная пара, постепенно ограничивалась и с течением времени почти исчезла. Консуэло было около шестнадцати лет, и она все еще продолжала вести бродячую жизнь, убегая после занятий в консерватории на Пьяццетту разучивать свой урок и съедать свой рис в обществе Андзолетто, когда мать ее, вконец изнуренная, перестала петь по вечерам в разных кафе, где она выступала, играя на гитаре и собирая деньги в деревянную тарелочку. Бедная женщина приютилась на одном из самых нищенских чердаков Корте-Минелли и там медленно угасала на жалком одре. Тогда добрая Консуэло, чтобы не оставлять мать одну, совершенно изменила свой образ жизни. За исключением тех часов, когда профессор удостаивал давать ей уроки, она либо вышивала, либо писала работы по контрапункту, не покидая изголовья своей властной, но впавшей в отчаяние матери, которая сурово обращалась с нею в детстве, а теперь

являла собою ужасное зрелище агонии без мужества и без смирения. Привязанность к матери и спокойная самоотверженность Консуэло ни на мгновение не изменили ей. Радости детства, свободу, бродячую жизнь, даже любовь – все она принесла в жертву без горечи и без колебаний. Андзолетто часто на это жаловался, но, видя, что его упреки бесполезны, решил махнуть рукой и начал развлекаться. Однако это оказалось невозможным. Андзолетто не был так усидчив в работе, как Консуэло; он наспех и плохо занимался на уроках, которые давал ему так же наспех и так же плохо его профессор ради платы, обещанной графом Дзустиньяни. К счастью для Андзолетто, щедро одарившая его природа помогала ему, насколько возможно, наверстывать потерянное время и заглаживать результаты плохого обучения; но в итоге у него оказывалось много часов для безделья, и тогда ему страшно не хватало общества преданной и жизнерадостной Консуэло. Он пытался предаться страстям, свойственным его возрасту и положению: посещал кабачки, проигрывал с разными повесами подачки, получаемые порой от графа Дзустиньяни. Такая жизнь продолжалась недели две-три, после чего он ощутил, что его общее самочувствие, его здоровье и голос заметно ухудшаются… Он понял, что безделье и распущенность – не одно и то же, а к распущенности у него склонности не было. Избавившись от порочных страстей, конечно, лишь из любви к самому себе, он уединился и попробовал засесть за учение, но это уединение показалось

ему тягостным, тоскливым и трудным. Он почувствовал, что Консуэло так же необходима для его таланта, как и для счастья. Прилежная и настойчивая, Консуэло, для которой музыка была такой же родной стихией, как воздух для птицы или вода для рыбы, любила преодолевать трудности и, словно ребенок, не отдавала себе при этом отчета в значительности своих достижений; стремясь побороть препятствия и проникнуть в тайники искусства в силу того самого инстинкта, который заставляет росток пробиваться из земли к свету, она принадлежала к тем редким счастливым натурам, для которых труд – наслаждение, истинный отдых, необходимое, нормальное состояние, а бездействие – тяжко, болезненно, просто гибельно, если оно вообще возможно. Впрочем, эти натуры не знают его; даже когда кажется, будто они предаются праздности, даже и тогда они работают; у них нет мечтаний, а есть размышления. Когда видишь их за делом, думаешь, что именно в это время они создают что-то, но в действительности они лишь выявляют то, что уже было создано ими ранее. Пожалуй, ты скажешь мне, дорогой читатель, что не знавал таких исключительных натур. На это я отвечу, что на своем веку встретил только одно такое существо, а ведь я старше тебя. Ах, отчего я не могу сказать тебе, что мне удалось проследить божественную тайну этой напряженной умственной деятельности на примере собственного бедного разума! Увы, друг читатель, ни ты, ни я не будем изучать ее на нас самих.

Консуэло работала не покладая рук и всегда с удовольствием. Целыми часами свободно и привольно распевая или читая ноты, она преодолевала трудности, которые устрашили бы Андзолетто, будь он предоставлен самому себе; непредумышленно, не думая ни о каком соревновании, она между взрывами детского смеха, среди полетов поэтической и творческой фантазии, присущей людям из народа в Испании и Италии, заставляла его следовать за нею, вторить ей, понимать ее, отвечать ей. Андзолетто, сам того не сознавая и не замечая, в течение ряда лет проникался гениальностью Консуэло, впитывая ее как бы у самого истока. Но вследствие своей лени он представлял собою в музыке странное сочетание знания и невежества, вдохновения и легкомыслия, силы и неловкости, смелости и бессилия – всего того, что при последнем его выступлении погрузило Порпору в целый лабиринт мыслей и предположений. Старый музыкант не подозревал, что все эти сокровища Андзолетто похитил у Консуэло, и это объяснялось тем, что, пробрав однажды девочку за дружбу с таким шалопаем, он никогда больше не встречал их вместе. Консуэло, стремясь сохранить расположение своего учителя, старалась не попадаться ему на глаза в обществе Андзолетто, а когда они бывали вместе, она, еще издали заметив профессора, пряталась с проворством котенка за ближайшую колонну или забивалась в какую-нибудь гондолу.

Эти предосторожности имели место и позже, когда Консуэло сделалась сиделкой у постели матери. Андзолетто, не

в силах больше выносить разлуку с Консуэло, чувствуя, что без нее он не может ни жить, ни надеяться, ни загораться вдохновением, ни даже дышать, решил делить с ней ее затворническую жизнь и из вечера в вечер вместе с нею терпеть насмешки и вспышки раздражения умирающей. За несколько месяцев до смерти несчастная женщина стала страдать не так сильно и, покоренная дочерней любовью, открыла свое сердце более добрым чувствам. Мало-помалу она привыкла к услугам Андзолетто, и сам он, хотя совсем не был создан для такой роли, привык относиться к слабости и к страданию кротко, с веселой готовностью помочь. У Андзолетто был ровный характер и приятное обхождение. Его постоянство по отношению к Консуэло и к ней самой наконец завоевало сердце матери, и перед смертью она заставила детей поклясться, что они никогда не расстанутся. Андзолетто дал слово и в эту торжественную минуту даже пережил никогда дотоле не испытанное чувство глубокого умиления. Он с тем более легким сердцем дал это обещание, что умирающая сказала: «Чем бы она ни была для тебя – подругой, сестрой, любовницей или женой, не бросай ее, ведь она только тебя и признает, только тебя и слушает». Затем, стремясь дать дочери разумный и полезный совет и не задумываясь над тем, насколько он осуществим, она, как мы уже знаем, взяла с Консуэло особую клятву, что та не будет принадлежать возлюбленному до венца. Девушка поклялась, не предвидя препятствий, которые могли возникнуть из-за от-

сутствия религиозности у Андзолетто и из-за его независимого характера.

Осиротев, Консуэло продолжала зарабатывать шитьем, но в то же время занималась и музыкой, чтобы приобщиться к будущей профессии Андзолетто. В течение двух последних лет, когда Консуэло жила на своем чердаке одна, он встречался с ней ежедневно, но не чувствовал к ней никакой страсти. Впрочем, он не чувствовал страсти и к другим женщинам, предпочитая всему прелесть дружеской близости с Консуэло и удовольствие жить подле нее.

Не отдавая себе вполне отчета в огромных способностях своей подруги, он все-таки достаточно развил в себе музыкальный вкус и понимание, чтобы сознавать, что у нее больше умения и возможностей, чем у всех певиц театра Сан-Самуэле, не исключая самой Кориллы. И вот к его привязанности присоединилась надежда, почти уверенность в том, что, объединив свои интересы, со временем они добьются блестящей карьеры. Консуэло не имела обыкновения думать о будущем; предвидеть было не в ее характере. Она была готова и дальше заниматься музыкой исключительно по призванию, а общность интересов, возникавшая у нее с Андзолетто благодаря тому, что они оба занимались этим искусством, представлялась ей только как источник еще большей взаимной привязанности и счастья. Поэтому, внезапно решив ускорить осуществление их мечтаний, Андзолетто даже не предупредил ее и в тот самый момент, когда Дзустинья-

ни раздумывал, кем бы заменить Кориллу, с редкой проницательностью угадал мысли своего покровителя и сделал то неожиданное предложение, о котором уже шла речь.

Некрасивость Консуэло, это неожиданное, странное препятствие, непреодолимое, если только граф не ошибся, внесло страх и смятение в душу Андзолетто. И он побрел на Корте-Минелли, останавливаясь на каждом шагу, чтобы по-новому представить себе образ подруги и в сотый раз задать себе вопрос: «Так она некрасива? Безобразна? Уродлива?».

Глава VIII

– Что ты так смотришь на меня? – спросила Консуэло, видя, что Андзолетто, войдя в комнату, молча разглядывает ее с каким-то странным видом. – Можно подумать, что ты никогда меня не видел.

– Это правда, Консуэло, – ответил он, – я никогда тебя не видел.

– Что ты говоришь? В своем ли ты уме?

– О Господи! – воскликнул Андзолетто. – У меня в мозгу словно какое-то черное пятно, и оно мешает мне видеть тебя.

– Боже милосердный! Да ты болен, мой друг!

– Нет, дорогая моя, успокойся, и постараемся все выяснить. Скажи мне, Консуэло, ты находишь меня красивым?

– Ну конечно, раз я тебя люблю.

– А если б ты меня не любила, каким бы я тебе казался?

– Откуда мне знать?

– Но когда ты смотришь на других мужчин, различаешь же ты, красивы они или некрасивы?

– Различаю, но для меня ты красивее всех красавцев.

– Потому ли, что я действительно красив, или потому, что ты меня любишь?

– И потому и поэтому. Впрочем, все находят тебя красивым, и ты сам это хорошо знаешь. Но какое тебе до этого дело?

– Мне хочется знать, любила ли бы ты меня, будь я безобразен?

– Пожалуй, я и не заметила бы этого.

– Значит, по-твоему, можно любить и некрасивого?

– Почему же нет? Ведь любишь же ты меня.

– Значит, ты некрасива, Консуэло? Говори, отвечай же! Ты в самом деле некрасива?

– Мне всегда это говорили. А разве сам ты этого не видишь?

– Нет, нет, право, не вижу.

– Ну, тогда я считаю себя достаточно красивой и очень довольна этим.

– Вот сейчас, Консуэло, ты смотришь на меня такими добрыми, искренними, любящими глазами, что кажешься мне прекраснее Кориллы. Но мне хочется знать, действительно ли это так, или это только мое заблуждение. Понимаешь, я отлично знаю твое лицо, знаю, что оно хорошее и нравится мне. Когда я раздражен, оно действует на меня успокоительно, когда грустен, оно утешает меня, когда удручен, оно поднимает мой дух. Но я не знаю твоей наружности. Я не знаю, Консуэло, действительно ли ты некрасива.

– Я еще раз спрашиваю: какое тебе до этого дело?

– Мне необходимо знать это. Как ты думаешь, может ли красивый мужчина любить некрасивую женщину?

– Но ведь любил же ты мою бедную мать, а она сделалась под конец совершенным страшилищем. А я-то как любила

ее!

– И ты считала ее уродливой?

– Нет. А ты?

– Я и не думал о ее наружности. Но это совсем не то, Консуэло… Я говорю о другой любви – о любви страстной, а ведь тебя я люблю именно такой любовью, правда? Я не могу обходиться без тебя, не могу с тобой расстаться. Ведь это настоящая любовь, как по-твоему?

– А чем иным могло бы это быть?

– Дружбой.

– Да. Возможно, что это и есть дружба.

Тут удивленная Консуэло замолчала и внимательно посмотрела на Андзолетто. А тот, погрузившись в задумчивость, впервые задал себе вопрос, что он испытывал к Консуэло – любовь или дружбу – и о чем говорили это спокойствие чувств, это целомудрие, которое он так легко сохранял вблизи нее, – об уважении или о безразличии. В первый раз посмотрел он на девушку глазами молодого мужчины, не без некоторого волнения разбирая и оценивая ее лоб, глаза, фигуру – все то, что до сих пор жило в его представлении в виде какого-то затуманенного идеального целого. В первый раз взволнованная Консуэло была смущена взглядом своего друга: она покраснела, сердце ее забилось, и, не будучи в силах смотреть в глаза Андзолетто, она отвернулась. Андзолетто все еще продолжал хранить молчание. Не решаясь его прервать, Консуэло вдруг ощутила невыразимую трево-

гу, крупные слезы одна за другой покатились по ее щекам, и, закрывая лицо руками, она воскликнула:

– О, я вижу, ты пришел мне сказать, что не хочешь больше, чтобы я была твоей подругой!

– Нет, нет, никогда я этого не говорил и не говорю! – воскликнул Андзолетто, испуганный ее слезами, которые вызвал у нее впервые, и поспешно по-братски обнял ее.

Но в этот миг Консуэло отвернулась, и поэтому вместо свежей, прохладной щеки поцелуй его встретил горячее плечо, едва прикрытое косынкой из грубого черного кружева.

Когда первая вспышка страсти запылает в сильном молодом существе, сохранившем всю свою детскую чистоту, но уже достигшем полного расцвета, она вызывает потрясающее, почти мучительное ощущение.

– Не знаю, что со мной, – проговорила Консуэло, вырываясь с дотоле не испытанным страхом из объятий своего друга, – но мне нехорошо, мне кажется, будто я умираю…

– Не надо умирать, дорогая, – говорил Андзолетто, нежно поддерживая ее, – теперь я убежден, что ты красавица, настоящая красавица.

Действительно, Консуэло была очень хороша в эту минуту. И Андзолетто, почувствовав это всем своим существом, не мог удержаться, чтобы не высказать ей своего восхищения, хотя и не был уверен в том, что ее красота отвечает требованиям, предъявляемым сценой.

– Да скажи, наконец, зачем тебе понадобилось сегодня,

чтобы я была красива? – спросила Консуэло, внезапно побледнев и обессилев.

– А разве тебе самой не хочется быть красивой, милая Консуэло?

– Да, для тебя.

– А для других?

– Какое мне до них дело?

– А если бы от этого зависело наше будущее?

Тут Андзолетто, видя, в какое смятение он привел свою подругу, откровенно рассказал ей о том, что произошло между ним и графом. Когда он передал ей не слишком лестные для нее слова Дзустиньяни, добродушная Консуэло, которая поняла теперь, в чем дело, и успела успокоиться, вытерла слезы и рассмеялась.

– Как, – воскликнул Андзолетто, пораженный таким полным отсутствием тщеславия, – ты ничуть не взволнована, не смущена? О, я вижу, Консуэло, что вы маленькая кокетка и прекрасно знаете, что далеко не некрасивы.

– Послушай, – ответила она, улыбаясь, – раз ты придаешь такое значение подобному вздору, я должна тебя немного успокоить. Я никогда не была кокеткой: при моей наружности это было бы смешно. Однако несомненно, что я теперь уже не некрасива.

– В самом деле? Ты это слышала? Кто же говорил тебе это, Консуэло?

– Во-первых, моя мать: ее никогда не смущала моя некра-

сивость. Она не раз повторяла, что это пройдет и что сама она в детстве была еще хуже. А между тем я от многих, знавших ее, слыхала, что в двадцать лет она была самой красивой девушкой в Бургосе. Помнишь, когда она пела в кафе, не раз приходилось слышать: «Как, должно быть, эта женщина была красива в молодости». Видишь ли, друг мой, для бедняков красота – дело одного мгновения: сегодня ты еще не красива, а завтра уже перестала быть красивой. Быть может, и я еще буду хороша, только бы мне не переутомляться, высыпаться хорошенько да не очень голодать.

– Консуэло, мы с тобой не расстанемся. Я скоро разбогатею, ты ни в чем не будешь нуждаться и сможешь хорошеть, сколько тебе угодно.

– В добрый час! Да поможет нам Господь в остальном!

– Да, но все это не решает дела сейчас: необходимо узнать, найдет ли тебя граф достаточно красивой для сцены.

– Проклятый граф! Только бы он не был слишком требователен.

– Но, уж во всяком случае, ты не дурнушка.

– Да, я не дурнушка. Еще недавно я слышала, как стекольщик – тот, что живет напротив нас, – сказал жене: «А знаешь, Консуэло совсем недурна: у нее прекрасная фигура, а когда она смеется, так просто сердце радуется; когда же запоет – делается и вовсе красивой».

– А что ответила на это его жена?

– Она ответила: «А тебе что до этого, дурак? Лучше зани-

майся своим делом; женатому человеку нечего заглядываться на девушек».

– И видно было, что она сердится?

– Еще как!

– Это хороший признак. Она считала, что муж ее не ошибся. Ну, а еще что?

– А потом графиня Мочениго, – я шью на нее, и она всегда принимала во мне участие, – так вот, на прошлой неделе вхожу я к ней, а она и говорит доктору Анчилло: «Посмотрите, доктор, как эта девочка выросла, побелела, какая у нее прелестная фигура».

– А доктор что ответил?

– Он ответил: «Действительно, сударыня, я не узнал бы ее, клянусь вам! Она из тех флегматичных натур, которые белеют, когда начинают полнеть. Увидите, из нее выйдет красавица».

– Не слыхала ли ты еще чего?

– Еще настоятельница монастыря Санта-Кьяра – она заказывает мне вышивки для своих алтарей – тоже сказала одной из монахинь: «Разве я была не права, когда говорила, что Консуэло похожа на нашу святую Цецилию? Каждый раз, молясь перед образом, я невольно думаю об этой девочке, думаю и прошу Бога, чтобы она не впала в грех и всегда пела только в церкви».

– А что ответила сестра?

– Она ответила: «Ваша правда, мать настоятельница, су-

щая правда». Сейчас же после этого я побежала в их церковь поглядеть на святую Цецилию. Ее написал великий художник, и она такая красавица!

– И она похожа на тебя?

– Немножко.

– Почему же ты никогда мне об этом не говорила?

– Да я как-то не думала об этом.

– Милая моя Консуэло, так, значит, ты красива?

– Не знаю, но я уже не так дурна собой, как говорили раньше. Во всяком случае, о своем безобразии я больше не слышу. Правда, может быть, люди просто не хотят меня огорчать теперь, когда я стала взрослой.

– Ну, Консуэло, посмотри-ка на меня хорошенько. Начать с того, что у тебя самые красивые глаза в мире!

– Зато рот слишком велик, – вставила, смеясь, Консуэло, разглядывая себя в осколок разбитого зеркала.

– Рот не мал, но какие чудесные зубы, – продолжал Андзолетто, – просто жемчужины! Так и сверкают, когда ты смеешься.

– В таком случае, когда мы с тобой будем у графа, ты должен непременно рассмешить меня.

– А волосы какие чудесные, Консуэло!

– Вот это правда. На, посмотри…

Она вытащила шпильки, и целый поток черных волос, в которых солнце отразилось, как в зеркале, спустился до земли.

– У тебя высокая грудь, тонкая талия, а плечи… До чего они хороши! Зачем ты прячешь их от меня, Консуэло? Ведь я хочу видеть только то, что тебе неизбежно придется показывать публике.

– Нога у меня довольно маленькая, – желая переменить разговор, сказала Консуэло, выставляя свою крошечную, чудесную ножку – ножку настоящей андалузки, какую почти невозможно встретить в Венеции.

– Ручка – тоже прелесть, – прибавил Андзолетто, впервые целуя ей руку, которую до сих пор только по-товарищески пожимал. – Ну, покажи мне свои руки повыше!

– Ты ведь их сто раз видел, – возразила она, снимая митенки.

– Да нет же! Я никогда еще их не видел, – сказал Андзолетто.

Это невинное и вместе с тем опасное расследование начинало странным образом волновать юношу. Он как-то сразу умолк и все глядел на девушку, а та под влиянием его взглядов с каждой минутой преображалась, делаясь все красивее и красивее.

Быть может, он был не совсем слеп и раньше; быть может, впервые Консуэло, сама того не сознавая, сбросила с себя выражение спокойной беспечности, допустимое лишь при безупречной правильности линий. В эту минуту, еще взволнованная ударом, поразившим ее в самое сердце, уже ставшая вновь простодушной и доверчивой, но еще испытывая

легкое смущение, проистекавшее не от проснувшегося кокетства, а от чувства пробудившейся стыдливости, пережитого и понятого ею, она прозрачной белизной лица и чистым блеском глаз действительно напоминала святую Цецилию из монастыря Санта-Кьяра.

Андзолетто не в силах был оторвать от нее взгляда. Солнце зашло. В большой комнате с одним маленьким оконцем быстро темнело, и в этом полусвете Консуэло стала еще красивее, – казалось, будто вокруг нее реет дыхание неуловимых наслаждений. В голове Андзолетто пронеслась мысль отдаться страсти, пробудившейся в нем с неведомой дотоле силой, но холодный рассудок взял верх над этим порывом. Ему хотелось дать волю своим пылким восторгам и проверить, может ли красота Консуэло пробудить в нем такую же страсть, какую пробуждали всеми признанные красавицы, которыми он обладал прежде. Но он не посмел поддаться этому искушению, недостойному той, что вызвала в нем такие мысли. Волнение его все росло, а боязнь потерять это новое для него сладостное ощущение заставляла желать, чтобы оно длилось как можно дольше.

Вдруг Консуэло, которая уже не могла больше выносить охватившее ее смущение, заставила себя вернуться к прежней беззаботной веселости и принялась расхаживать по комнате, напевая с преувеличенной экспрессией отрывки из какой-то оперы и сопровождая пение трагическими жестами, словно на сцене.

– Да ведь это великолепно! – с восторгом и изумлением воскликнул Андзолетто, увидев, что она способна прибегать к таким сценическим трюкам, каких никогда еще ему не показывала.

– Совсем не великолепно! – сказала Консуэло, садясь. – Надеюсь, ты это говоришь в шутку?

– Уверяю тебя, на сцене это было бы великолепно. Поверь, здесь нет ничего лишнего. Корилла лопнула бы от зависти: это так же эффектно, как то, за что ей аплодируют с таким неистовством.

– Мой милый Андзолетто, я вовсе не хочу, чтобы она лопнула от зависти к такому фиглярству. И если бы публика вздумала аплодировать мне только потому, что я умею подражать Корилле, то я бы больше не захотела и появляться перед ней.

– Ты, значит, надеешься превзойти Кориллу?

– Да, надеюсь или откажусь от всего.

– Как же ты это сделаешь?

– Пока еще не знаю…

– Попробуй.

– Нет, все это одни мечты; и пока не будет решено, дурна я собой или хороша, нам нечего строить воздушные замки. Может быть, мы оба с тобой не в своем уме и, как выразился господин граф, Консуэло действительно уродлива.

Это последнее предположение дало Андзолетто силы уйти.

Глава IX

В эту полосу своей жизни, почти неизвестную его биографам, Никколо Порпора, один из лучших композиторов Италии и величайший профессор пения XVIII века, ученик Скарлатти, учитель певцов Гассе, Фаринелли, Кафарелли, Салимбени, Уберто (известного под именем Порпорино) и певиц Минготти, Габриэлли, Мольтени, – словом, родоначальник самой знаменитой школы пения своего времени, Никколо Порпора прозябал в Венеции, в состоянии, близком к нищете и отчаянию. А между тем некогда он стоял во главе консерватории Оспедалетто в этом самом городе, и то был самый блестящий период его жизни. Именно в ту пору им были написаны и поставлены лучшие его оперы, лучшие кантаты и все его главные произведения духовной музыки. Вызванный в 1728 году в Вену, он, правда не без некоторых усилий, добился там покровительства императора Карла VI. Он пользовался также благоволением саксонского двора [14], а затем был приглашен в Лондон, где в течение девяти или десяти лет имел честь соперничать с самим великим Генделем, звезда которого как раз в эту пору несколько потускнела. Но в конце концов гений Генделя восторжествовал, и Порпора,

---

[14] Николло Порпора давал там уроки пения и композиции принцессе Саксонской, впоследствии французской дофине, матери Людовика XVI, Людовика XVIII и Карла X. (*Прим. автора*.).

уязвленный в своей гордости и почти без денег, возвратился в Венецию, где не без труда занял место директора уже другой консерватории. Он написал здесь еще несколько опер и поставил их на сцене, но это было нелегко; последняя же опера, хотя и написанная в Венеции, пошла только в лондонском театре, где не имела никакого успеха. Гению его был нанесен жестокий удар; слава и успех могли бы еще возродить его, но неблагодарность Гассе, Фаринелли и Кафарелли, все более и более забывавших своего учителя, окончательно разбила его сердце, ожесточила его, отравила ему старость. Известно, что он скончался в Неаполе на восьмидесятом году жизни в нищете и горе.

В то время, когда граф Дзустиньяни, предвидя уход Кориллы и почти желая его, подыскивал ей заместительницу, Порпора переживал припадок раздражения, и его неудовольствие имело некоторое основание. Если в Венеции любили и исполняли музыку Йомелли, Лотти, Кариссими, Гаспарини и других превосходных мастеров, то это не мешало публике одновременно увлекаться без разбора легкой музыкой Кокки, Буини, Сальваторе Аполлини и других более или менее бездарных композиторов, чей легкий и вульгарный стиль был по душе людям посредственным. Оперы Гассе не могли нравиться его учителю, справедливо разгневанному на него. Маститый и несчастный Порпора, закрывший сердце и уши для современной музыки, пытался задушить ее славою и авторитетом стариков. С чрезмерной суровостью он пори-

цал грациозные произведения Галуппи и даже своеобразные фантазии Кьодзетто – популярного в Венеции композитора. С ним можно было разговаривать лишь о падре Мартини, о Дуранте, о Монтеверди, о Палестрине; не знаю, благоволил ли он даже к Марчелло и к Лео. Вот почему первые попытки графа Дзустиньяни пригласить на сцену его неизвестную ученицу, бедную Консуэло, которой он желал, однако, и славы и счастья, Порпора встретил холодно и с грустью. Он был слишком опытным преподавателем, чтобы не знать цены своей ученице, не знать, чего она заслуживает. Одна мысль, что этот истинный талант, выращенный на шедеврах старых композиторов, будет подвергнут профанации, приводила старика в ужас. Опустив голову, подавленным голосом он ответил графу:

– Ну что ж, берите эту незапятнанную душу, этот чистый ум, бросьте его собакам, отдайте на съедение зверям, раз уж такова в наши дни судьба гения.

Серьезная, глубокая и вместе с тем комическая печаль старого музыканта возвысила Консуэло в глазах графа: если этот суровый учитель так ценит ее, значит, есть за что.

– Это действительно ваше мнение, дорогой маэстро? В самом деле Консуэло такое необыкновенное, божественное существо?

– Вы ее услышите, – проговорил Порпора с видом человека, покорившегося неизбежному, и повторил: – Такова ее судьба.

Граф все же сумел рассеять уныние маэстро, обнадежив его обещанием серьезно пересмотреть оперный репертуар своего театра. Он обещал исключить из репертуара, как только ему удастся избавиться от Кориллы, плохие оперы, ставившиеся, по его словам, лишь по ее капризу и ради ее успеха, он намекнул весьма ловко, что будет очень сдержан в отношении постановок опер Гассе, и даже заявил, что в случае, если Порпора пожелает сочинить оперу для Консуэло, то день, когда ученица покроет своего учителя двойною славой, передав его мысли в соответствующем стиле, будет торжеством для оперной сцены Сан-Самуэле и счастливейшим днем в жизни самого графа.

Порпора, убежденный его доводами, немного смягчился и втайне уже желал, чтобы дебют его ученицы, которого он сначала побаивался, полагая, что она может придать новый блеск творениям его соперника, состоялся. Однако, поскольку граф выразил опасение насчет наружности Консуэло, он наотрез отказался дать ему возможность прослушать ее в узком кругу и без подготовки. На все настояния и вопросы графа он отвечал:

– Я не стану утверждать, что она красавица. Девушка, столь бедно одетая, естественно, робеет перед таким вельможей и ценителем искусства, как вы; дитя народа, она не встречала в жизни никакого внимания и, понятно, нуждается в том, чтобы немного заняться своим туалетом и подготовиться. К тому же Консуэло принадлежит к числу людей,

чьи лица удивительно преображаются под влиянием вдохновения. Надо одновременно и видеть и слышать ее. Предоставьте это мне; если вам она не подойдет, я возьму ее к себе и найду способ сделать из нее хорошую монахиню, которая прославит школу, где будет преподавать.

Такова была в действительности та будущность, о которой до сих пор мечтал Порпора для Консуэло.

Повидав затем свою ученицу, он объявил, что ей предстоит петь в присутствии графа Дзустиньяни. Когда девушка наивно выразила опасение, что тот найдет ее некрасивой, учитель убедил ее в том, что граф во время богослужения будет сидеть в церкви и не увидит ее за решеткой органа, но все же посоветовал ей одеться поприличней, ибо после службы собирался представить ее графу. Как ни беден был благородный старик, он дал ей для этой цели небольшую сумму, и Консуэло, взволнованная, растерянная, впервые в жизни занялась своей особой и наспех принарядилась. Она решила также испытать свой голос и, запев, нашла его таким сильным, свежим и гибким, что несколько раз повторила очарованному и тоже взволнованному Андзолетто:

– Ах! Зачем нужно певице еще что-то, кроме умения петь?

Глава X

Накануне торжественного дня Андзолетто нашел дверь в комнату своей подруги запертою на задвижку и, только прождав на лестнице около четверти часа, смог, наконец, войти и взглянуть на Консуэло в праздничном одеянии, которое ей хотелось ему показать. Она надела хорошенькое ситцевое платье в крупных цветах, кружевную косынку и напудрила волосы. Это так изменило ее облик, что Андзолетто простоял в недоумении несколько минут, не понимая, выиграла ли она, или потеряла от такого превращения. Нерешительность, которую Консуэло прочла в его глазах, сразила ее, словно удар кинжала.

– Ну вот! – воскликнула она. – Я вижу, что не нравлюсь тебе в этом наряде. Кто сможет найти меня хотя бы сносной, если даже тот, кто меня любит, не испытывает, глядя на меня, ни малейшего удовольствия?

– Подожди, подожди, – возразил Андзолетто. – Прежде всего я в восторге от твоей прелестной талии – она очень выигрывает от этого длинного лифа, а кружевная косынка придает тебе такой благородный вид! Юбка падает широкими складками и сидит на тебе прекрасно… Но мне жаль твоих черных волос… Да, мне кажется, что прежде было лучше. Ничего не поделаешь – они хороши для плебейки, а завтра ты должна быть синьорой.

– А зачем мне нужно быть синьорой? Я ненавижу пудру, она обесцвечивает и старит самых красивых, а в этих нарядных тряпках я кажусь себе какой-то чужой. Словом, я сама себе не нравлюсь и вижу, что ты того же мнения. Знаешь, сегодня я была на репетиции, и при мне Клоринда тоже примеряла новое платье. Какая она нарядная, смелая, красивая! Вот счастливица, достаточно только взглянуть на нее, чтобы убедиться в ее красоте! Мне очень страшно появиться перед графом рядом с ней.

– Будь спокойна, граф не только видел ее, но и слышал.

– И она пела плохо?

– Так, как поет всегда.

– Ах, друг мой, соперничество портит душу. Еще недавно, если бы Клоринда – при всем своем тщеславии она ведь совсем не плохая девушка – потерпела фиаско перед знатоком музыки, я от всей души пожалела бы ее и разделила с ней ее горе. А сегодня я ловлю себя на том, что могла бы порадоваться ее провалу. Борьба, зависть, стремление погубить друг друга… И все из-за кого? Из-за человека, которого не только не любишь, но даже не знаешь! Как это грустно, любимый мой! И мне кажется, что я одинаково боюсь и успеха и провала. Мне кажется, что пришел конец нашему с тобой счастью и что завтра, каков бы ни был исход испытания, я вернусь в эту убогую комнату совсем другой, не той, что была прежде.

Две крупные слезы скатились по щекам Консуэло.

– Плакать теперь? Как можно! – воскликнул Андзолетто. – У тебя потускнеют глаза, распухнут веки! А твои глаза, Консуэло… Смотри не порти их – они самое красивое, что у тебя есть.

– Или менее некрасивое, чем все остальное, – произнесла она, утирая слезы. – Оказывается, когда отдаешь себя сцене, не имеешь права даже плакать.

Андзолетто пытался ее утешить, но она была печальна в течение всего дня. А вечером, оставшись одна, она стряхнула пудру со своих прекрасных, черных как смоль волос, пригладила их, примерила еще не старое черное шелковое платьице, которое обычно надевала по воскресеньям, и, увидав себя в зеркале такой, какой привыкла себя видеть, успокоилась. Затем, пламенно помолившись, она стала думать о своей матери, растрогалась и заснула в слезах. Когда Андзолетто на следующее утро зашел за ней, чтобы вместе идти в церковь, он застал ее у спинета, одетую и причесанную, как обычно по воскресеньям, – она репетировала арию, которую должна была исполнять.

– Как! – вскричал он. – Еще не причесана, не одета! Ведь скоро идти. О чем ты думаешь, Консуэло?

– Друг мой, я одета, причесана и спокойна. И хочу остаться в таком виде, – сказала она решительным тоном. – Все эти нарядные платья совсем мне не к лицу. Мои черные волосы тебе больше нравятся, чем напудренные. Этот лиф не мешает мне дышать. Пожалуйста, не противоречь: это дело

решенное. Я просила Бога вдохновить меня, а матушку – наставить, как мне себя вести. И вот Господь внушил мне быть скромной и простой. А матушка сказала мне во сне то, что говорила всегда: «Постарайся хорошо спеть, а все остальное в руках Божьих». Я видела, как она взяла мое нарядное платье, мои кружева, ленты и спрятала их в шкаф, а мое черное платьице и белую кисейную косынку положила на стул у моей кровати. Проснувшись, я спрятала свои наряды в шкаф, как сделала это она во сне, надела свое черное платьице, косынку, и вот я готова. И чувствую себя куда храбрее с тех пор, как отказалась от тех средств нравиться, которые мне чужды. Послушай лучше мой голос, – все зависит от него.

И она исполнила руладу…

– О Господи! Мы погибли! – воскликнул Андзолетто. – Голос твой звучит глухо, и глаза совсем красные. Ты, наверно, плакала вчера вечером! Хороша, нечего сказать! Повторяю тебе: мы погибли! Ты просто с ума сошла! Облечься в траур в праздничный день! Это и несчастье приносит и делает тебя гораздо хуже, чем ты есть. Скорей, скорей, переодевайся, а я пока сбегаю за румянами. Ты бледна как мертвец.

Между ними разгорелся жаркий спор. Андзолетто был даже несколько груб. Бедная девушка опять огорчилась и расплакалась. Это еще более вывело из себя Андзолетто, и размолвка была в разгаре, когда на часах пробило без четверти два: оставалось ровно столько времени, чтобы бегом добежать до церкви. Андзолетто разразился проклятиями. Кон-

суэло, бледнее утренней звезды, глядящей в воду лагун, в последний раз посмотрелась в свое разбитое зеркальце и порывисто бросилась в объятия Андзолетто.

– Друг мой! – воскликнула она. – Не брани, не проклинай меня! Лучше поцелуй меня покрепче, чтобы разрумянить мои побелевшие щеки. Пусть твой поцелуй будет жертвенным огнем на устах Исайи и пусть Господь не покарает нас за то, что мы усомнились в его помощи!

Поспешно накинув на голову косынку, она схватила ноты и, увлекая за собой растерявшегося возлюбленного, побежала с ним к церкви Мендиканти. Церковь была битком набита поклонниками прекрасной музыки Порпоры. Андзолетто ни жив ни мертв направился к графу, который заранее условился встретиться с ним здесь, а Консуэло поднялась на хоры. Хористки уже стояли в боевой готовности, а профессор ждал у пюпитра. Консуэло и не подозревала, что с того места, где сидел граф, прекрасно виден хор и что он, не спуская глаз, следит за каждым ее движением.

Но разглядеть ее лицо он еще не мог: придя, она тотчас опустилась на колени и, закрыв лицо руками, начала горячо молиться. «Господи, – шептала она, – ты знаешь, что я прошу возвысить меня, не стремясь при этом унизить моих соперниц. Ты знаешь также, что, посвящая себя сцене и мирскому искусству, я не хочу забыть тебя, не хочу вести порочной жизни. Тебе известно, что в душе моей нет тщеславия, и я молю поддержать меня, облагородить звук моего голоса и

придать ему проникновенность, когда я буду петь хвалу тебе, лишь ради того, чтобы я могла соединиться с тем, кого мне позволила любить моя мать, чтобы никогда не расставаться с ним, дать ему радость и счастье».

Когда раздались первые аккорды оркестра, призывавшие Консуэло занять свое место, она медленно поднялась с колен, косынка ее сползла на плечи, – тут граф и Андзолетто, полные нетерпения и тревоги, наконец смогли увидеть ее. Но что за чудесное превращение свершилось с этой юной девушкой, еще за минуту перед тем такой бледной, подавленной, усталой, испуганной! Вокруг ее высокого лба, казалось, реяло небесное сияние; нежная истома была разлита по благородному, спокойному и ясному лицу. В безмятежном взгляде не было видно мелкой жажды успеха. Во всем ее существе чувствовалось что-то серьезное, глубокое, таинственное, что-то трогательное и внушающее уважение.

– Мужайся, дочь моя, – шепнул ей профессор, – ты будешь исполнять творение великого композитора в его присутствии; он здесь и будет слушать тебя.

– Кто, Марчелло? – спросила удивленная Консуэло, видя, что профессор кладет на пюпитр псалмы Марчелло.

– Да, Марчелло. А ты пой как всегда, не лучше и не хуже, и все будет прекрасно.

В самом деле, Марчелло, который в это время доживал последний год своей жизни, приехал проститься с родной Венецией, которую он трижды прославил – как композитор,

как писатель и как государственный деятель. Он всегда выказывал много внимания Порпоре, который и попросил Марчелло прослушать его учениц. Профессор, желая сделать сюрприз композитору, поставил первым номером его великолепный псалом «I cieli immensi narrano», который Консуэло исполняла в совершенстве. Ни одно произведение не могло более гармонировать с религиозным экстазом, которым была полна в эту минуту благородная душа девушки. Как только Консуэло пробежала глазами первую строчку этого глубокого захватывающего песнопения, она перенеслась в другой мир. Позабыв о графе, о злобствующих соперницах, о самом Андзолетто, она помнила только о Боге и о Марчелло. В композиторе она видела сейчас посредника между собою и тем сияющим небом, славу которого готовилась воспеть. Мог ли какой-нибудь сюжет быть прекраснее, могла ли быть возвышеннее идея!

I cieli immensi narrano
Del grande Iddio la gloria;
Il firmamento lucido,
All' universe annunzia,
Quanto sieno, mirabili
Delia sua destra le opere[15].

---

[15] Безмерное небо глаголетТворца-вседержителя славу;И свод лучезарный вещаетПо всей беспредельной вселеннойО том, как велики и дивныДеянья Господней десницы (итал.).

Восхитительный румянец залил ее щеки, священный огонь зажегся в больших черных глазах, и под сводами церкви раздался ее неподражаемый голос, чистый, могучий, величественный, голос, который мог исходить только от существа, обладающего выдающимся умом и большим сердцем. После нескольких тактов сладостные слезы хлынули из глаз Марчелло. Граф, не будучи в силах совладать с волнением, воскликнул:

– Клянусь Богом, эта женщина прекрасна! Это святая Цецилия, святая Тереза, святая Консуэло! Это олицетворение поэзии, музыки, веры!

У Андзолетто подкашивались ноги, он еле стоял, судорожно сжимая руками решетку возвышения, пока, наконец, задыхаясь, близкий к обмороку, не опустился на стул, опьяненный радостью и гордостью.

Лишь уважение к святому месту удерживало многочисленных любителей и толпу, наполнявшую церковь, от бурных аплодисментов, приличных только в театре. У графа не хватило терпения дождаться конца службы, и он поднялся на хоры, чтобы выразить свой восторг Порпоре и Консуэло. Еще во время богослужения, пока священники читали псалмы, Консуэло спустилась в церковь, так как Марчелло пожелал поблагодарить ее и выразить ей свои чувства. Он был так взволнован, что едва мог говорить.

– Дочь моя, – начал он прерывающимся голосом, – прими благодарность и благословение умирающего. Ты в один миг

заставила меня забыть целые годы смертельных мук. Когда я слушал тебя, мне казалось, что со мной случилось чудо и непрестанно терзающая меня жестокая боль исчезла навсегда. Если ангелы на небесах поют, как ты, я жажду покинуть землю, чтобы вкусить вечное наслаждение, которое я познал благодаря тебе. Благословляю тебя, дитя мое! Будь счастлива в этом мире, как ты этого заслуживаешь. Я слышал Фаустину, Романину, Куццони, всех самых великих певиц мира; они не стоят твоего мизинца. Тебе суждено дать людям то, чего они еще никогда не слыхали, тебе суждено заставить их почувствовать то, чего до сих пор не чувствовал еще ни один смертный!

Подавленная, словно уничтоженная этой высокой похвалой, Консуэло низко склонилась, как бы намереваясь встать на колени, и, не будучи в состоянии вымолвить ни слова, только поднесла к губам мертвенно-бледную руку великого старца. Но, поднимаясь, она кинула на Андзолетто взгляд, который, казалось, говорил ему: «Неблагодарный, и ты не разгадал меня!».

Глава XI

В течение остальной части богослужения Консуэло проявила такую мощь и такие блестящие данные, что все требования, какие мог бы еще предъявить граф Дзустиньяни, оказались удовлетворенными. Она вела за собой, поддерживала и воодушевляла весь хор и по мере исполнения своих партий обнаружила огромный диапазон голоса и все разнообразие его достоинств, а также неистощимую силу своих легких, или, вернее, совершенство своего искусства: ведь умеющий петь не знает усталости, а петь для Консуэло было так же легко, как для других дышать. Ее безупречно чистый, звучный голос выделялся из сотни голосов ее подруг, и ей не надо было для этого кричать, подобно бездарным и безголосым певицам. Вдобавок она чувствовала и понимала до тончайших оттенков мысль композитора. Словом, она одна была и артистом и мастером среди всего этого стада заурядных певиц с вялым темпераментом, хотя и со свежими голосами. Естественно, не кичась этим, она царила, и, пока длилось пение, всем поющим казалось, что иначе и быть не может. Но когда хор умолк, те самые хористки, которые во время исполнения взглядом умоляли Консуэло о помощи, теперь в глубине души были сердиты на нее за это и все похвалы по адресу школы Порпоры приписывали себе. Похвалы эти Порпора выслушивал молча, улыбаясь, но при этом он смотрел

на Консуэло, и Андзолетто прекрасно понимал, что говорит его взгляд.

По окончании богослужения граф в одной из приемных монастыря предложил хористкам отличное угощение. Решетка разделяла два больших стола, поставленных в форме полумесяца друг против друга: просвет, рассчитанный на размер огромного пирога, был оставлен посреди решетки для того, чтобы передавать блюда, которые граф сам любезно предлагал старшим монахиням и воспитанницам. Одетые послушницами, последние приходили по двенадцати разом и по очереди усаживались на свободные места в глубине залы. Настоятельница сидела около самой решетки, направо от графа, сидевшего в наружной части залы, а слева от него было свободное место. Дальше сидели Марчелло, Порпора, приходский священник, старшие священники, участвовавшие в церковной службе, несколько аристократов – любителей музыки, светские попечители школы и, наконец, красавец Андзолетто в своем парадном черном костюме, при шпаге. Обыкновенно в подобной обстановке молодые певицы бывали очень оживлены: их приводили в приятное и возбужденное состояние вкусные яства, общество мужчин, желание нравиться или хотя бы быть замеченными, и они весело болтали наперебой. Но на этот раз пиршество проходило невесело и как-то натянуто. Замысел графа перестал быть тайной (разве есть секрет, который каким-либо образом не просочится сквозь щели монастырских стен?), и вот каждая

из молодых девушек в глубине души мечтала, что именно ее Порпора предложит графу взамен Кориллы. Сам профессор хитро поддерживал у некоторых из них эту иллюзию: у одних – чтобы заставить их лучше петь в присутствии Марчелло, у других – чтобы неминуемым разочарованием отомстить за все то, что он претерпел от них на своих уроках. Так или иначе, приходящая ученица школы Клоринда разрядилась в этот день в пух и прах, собираясь восседать рядом с графом. Каково же было ее бешенство, когда она увидела, что эта нищенка Консуэло в своем черном платьишке, эта дурнушка, отныне признанная лучшей певицей школы и единственным ее украшением, садится с невозмутимым видом за стол между графом и Марчелло! Гнев исказил ее лицо, она стала такой некрасивой, какою никогда не была Консуэло и какою стала бы сама Венера под влиянием столь низких и злобных чувств. Андзолетто, торжествуя победу, видел, что происходит в душе Клоринды; он подсел к ней и рассыпался в пошлых комплиментах, которые та имела глупость принять за чистую монету. Это вскоре ее утешило: она вообразила, что, завладев вниманием жениха Консуэло, может отомстить ей, и пустила в ход все свои чары. Но она была слишком ограниченна, а Андзолетто слишком хитер, и эта неравная борьба неминуемо должна была поставить ее в смешное положение.

Тем временем граф, беседуя с Консуэло, все более и более поражался, видя, что такт, здравый смысл и обаяние, которые девушка обнаруживает в разговоре, не менее велики,

чем талант и умение, проявленные ею в церкви. При полном отсутствии кокетства в ней было столько искренности, веселости, доброты, доверчивости, что при первом же знакомстве она внушала неотразимую симпатию. После ужина граф пригласил Консуэло прокатиться вместе с ним и его друзьями в гондоле, подышать вечерним воздухом. Марчелло не мог из-за болезни участвовать в этой прогулке, но Порпора, граф Барбериго и несколько других знатных молодых людей приняли предложение графа. Андзолетто также был допущен. Консуэло, со смущением подумав о том, что ей придется быть одной в обществе стольких мужчин, тихонько попросила графа пригласить также и Клоринду. Дзустиньяни, не понимавший причины ухаживания Андзолетто за бедной красавицей и довольный тем, что юноша уделяет ей больше внимания, чем своей невесте, охотно исполнил ее просьбу. Доблестный граф, благодаря своему легкомыслию, красивой наружности, богатству, собственному театру, а также легким нравам своего народа и своего века, отличался немалым самомнением. Возбужденный выпитым греческим вином и музыкой, стремясь отомстить поскорее коварной Корилле, граф, считая это вполне естественным, сразу же начал ухаживать за Консуэло. Усевшись с ней рядом и устроив так, что другая юная пара очутилась на противоположном конце гондолы, он достаточно выразительно впился взглядом в свою новую жертву. Но бесхитростная Консуэло ничего не поняла. Ей, такой чистой и прямой, даже в голову не могло

прийти, чтобы покровитель ее друга был способен на подобную низость. К тому же при своей обычной скромности, которую не смог поколебать даже блестящий нынешний успех, Консуэло не допускала и мысли о желании графа поухаживать за нею. Она питала все то же почтение к знатному вельможе, покровителю ее и Андзолетто, и простодушно, по-детски, наслаждалась приятной прогулкой.

Ее спокойствие и доверчивость настолько поразили графа, что он не знал, приписать ли их веселой непринужденности женщины, не помышляющей о сопротивлении, или же наивной глупости совершенно невинного существа. В Италии девушка в восемнадцать лет весьма просвещена, – я хочу сказать, была просвещена, особенно сто лет тому назад, да еще при наличии такого друга, как Андзолетто. Казалось бы, все благоприятствовало надеждам графа. А между тем всякий раз, когда он брал Консуэло за руку или собирался обнять ее, его удерживало какое-то необъяснимое смущение, он испытывал чувство неуверенности, чуть ли не почтительности, в котором не мог дать себе отчета.

Барбериго также находил, что Консуэло чрезвычайно привлекательна своей простотой, и охотно возымел бы на нее такие же виды, как и граф, но считал неделикатным идти наперекор намерениям своего друга. «По заслугам и честь, – думал он, видя, как блуждают в сладостном упоении взоры графа. – Еще придет и мой черед». Пока же, не имея обыкновения любоваться звездами во время прогулок с женщина-

ми, молодой Барбериго задал себе вопрос, с какой стати этот ничтожный мальчишка Андзолетто захватил себе белокурую Клоринду, и, подойдя к ней, попытался намекнуть юному тенору, что было бы более уместно, если б вместо ухаживания за девицами он взялся за весла. Андзолетто, несмотря на свою необыкновенную проницательность, был все-таки недостаточно хорошо воспитан, чтобы понимать с полуслова. К тому же он вообще держал себя с аристократами с заносчивостью, переходящей в наглость. Он ненавидел их всем сердцем, а его уступчивость по отношению к ним была лишь хитростью, за которой скрывалось глубочайшее презрение. Барбериго, поняв, что тенору хочется его позлить, задумал жестоко отомстить ему.

– Поглядите, каким успехом пользуется ваша подруга Консуэло, – громко обратился он к Клоринде. – До чего она дойдет сегодня? Ей мало фурора, который она произвела своим пением во всем городе, – она еще строит глазки нашему бедному графу. Если он и не потерял окончательно голову, то, уж наверно, потеряет, и тогда горе синьоре Корилле.

– О, этого можно не бояться! – лукаво возразила Клоринда. – Консуэло влюблена вот в этого самого Андзолетто, она его невеста. Они пылают друг к другу страстью Бог знает сколько лет.

– Долгие годы любви могут быть забыты в одно мгновение, – возразил Барбериго, – особенно когда глаза Дзустиньяни мечут свои смертоносные стрелы. Разве вы этого не

находите, прекрасная Клоринда?

Андзолетто не в силах был долго выносить такие насмешки. Тысячи змей уж начинали шевелиться в его сердце. До этой минуты ему и в голову не приходило подобное подозрение. Ни о чем не думая, он радовался победе своей подруги, и если в течение двух часов он забавлялся подтруниванием над несчастной жертвой сегодняшнего упоительного дня, то единственно для того, чтобы дать какой-то выход своему восторгу и удовлетворить тщеславие. Перебросившись с Барбериго несколькими шутками, Андзолетто сделал вид, что заинтересовался спором о музыке, разгоревшимся в это время на середине лодки между Порпорой и другими гостями графа, и, постепенно отдаляясь от того места, которое ему уже не хотелось больше оспаривать, он проскользнул, пользуясь темнотою, на нос гондолы. После первой же попытки нарушить беседу графа с Консуэло Андзолетто заметил, что его появление пришлось не по вкусу Дзустиньяни: тот ответил холодно и даже сухо на несколько бессодержательных вопросов юноши и посоветовал ему пойти послушать глубокомысленные рассуждения великого Порпоры о контрапункте.

– Великий Порпора не мой учитель, – заметил Андзолетто шутливым тоном, пытаясь скрыть закипевшее в нем бешенство, – он учитель Консуэло, и если глубокоуважаемому графу угодно, чтобы моя бедная Консуэло не брала уроков ни у кого, кроме как у своего старого профессора… – ласко-

во и вкрадчиво продолжал он, нагибаясь к графу.

– Милейший Дзото, – перебил его граф тоже ласково, но с превеликим лукавством, – мне надо что-то вам сказать на ухо. – И, нагнувшись к нему, проговорил: – Ваша невеста, получив, очевидно, от вас уроки добродетели, неуязвима, но вздумай я преподать ей уроки другого рода, полагаю, что я имел бы право заняться этим в течение хотя бы одного вечера…

Андзолетто похолодел с головы до ног.

– Ваше всемилостивейшее сиятельство, быть может, не откажет выразиться яснее, – задыхаясь, проговорил он.

– Это можно сделать в двух словах, любезный друг: гондола за гондолу, – отрезал граф.

Андзолетто так и замер от ужаса, поняв, что графу известна его прогулка наедине с Кориллой. Шальная и дерзкая женщина похвасталась этим во время своей последней жестокой ссоры с Дзустиньяни. Тщетно виновный пытался принять удивленный вид.

– Ступайте же и послушайте, что говорит Порпора об основах неаполитанской школы! – невозмутимо проговорил граф. – Потом расскажете мне, это очень меня интересует…

– Я это вижу, ваше сиятельство, – ответил взбешенный Андзолетто, который был способен сейчас погубить все свое будущее.

– Что же ты медлишь? – наивно спросила удивленная его нерешительностью Консуэло. – В таком случае пойду я, гос-

подин граф. Вы увидите, что я всегда готова служить вам.

И прежде чем граф успел ее остановить, она легко перепрыгнула через скамейку, отделявшую ее от старого учителя, и присела подле него на корточки.

Граф, видя, что его ухаживание за Консуэло мало подвинулось, нашел нужным притвориться.

– Андзолетто, – улыбаясь, сказал он, дергая довольно сильно своего питомца за ухо, – вот вся моя месть, дальше этого она не пойдет. Сознайтесь, она далеко не соответствует вашему проступку. Можно ли сравнить удовольствие, полученное мною от короткого невинного разговора с вашей возлюбленной на глазах у десяти присутствующих, с тем, чем вы насладились наедине с моей любовницей в ее наглухо закрытой гондоле?

– Ваше сиятельство, – в сильном волнении вскричал Андзолетто, – уверяю вас честью…

– Где она, ваша честь? Не в левом ли ухе? – спросил граф, делая вид, что собирается проделать над этим злополучным ухом то, что уже проделал над правым.

– Неужели вы предполагаете так мало благоразумия в своем питомце, что считаете его способным сделать такую глупость? – спросил Андзолетто, к которому успела вернуться его обычная находчивость.

– Сделал он ее или не сделал, в данную минуту мне это глубоко безразлично, – сухо ответил граф, поднялся и, подойдя к Консуэло, сел подле нее.

Глава XII

Споры о музыке продолжались и во дворце Дзустиньяни, куда вся компания вернулась к полуночи и где гостям был предложен шоколад и шербеты. От техники искусства перешли к стилю, к идеям, к старинным и современным музыкальным формам, наконец – коснулись способов выражения и тут, естественно, заговорили об артистах и о различной манере чувствовать и выражать музыку. Порпора с восторгом вспоминал своего учителя Скарлатти, впервые придавшего духовной музыке патетический характер. Но дальше этого профессор не шел: он был против того, чтобы духовная музыка вторгалась в область музыки светской и разрешала себе ее украшения, пассажи и рулады.

– Значит ли это, что вы, маэстро, отвергаете трудные пассажи и фиоритуры, которые, однако, создали успех и известность вашему знаменитому ученику Фаринелли? – спросил его Андзолетто.

– Я отвергаю их в церкви, – ответил маэстро, – а в театре приветствую их. Но и здесь я хочу, чтобы они были на месте, и главное – чтобы ими не злоупотребляли; я требую соблюдения строгого вкуса, изобретательности, изящества, требую, чтобы модуляции соответствовали не только данному сюжету, но и герою пьесы, чувствам, которые он выражает, и положению, в котором он находится. Пусть нимфы и пастушки

щебечут, как пташки, и своим лепетом подражают журчанию фонтанов и ручейков, но Медея или Дидона может только рыдать или рычать, как раненая львица. Кокетка, например, может перегружать капризными и изысканными фиоритурами свои легкомысленные каватины. Корилла превосходна в этом жанре, но попробуй она выразить глубокие чувства и бурные страсти, это ей не удастся. И напрасно будет она метаться, напрягать свой голос и легкие: неуместный пассаж, нелепая рулада в один миг превратят в смешную пародию то великое, к чему она стремилась. Вы все слышали Фаустину Бордони, ныне синьору Гассе. Так вот, в некоторых ролях, соответствующих ее блестящим данным, она не имела себе равных. Но явилась Куццони, передававшая с присущей ей чистой, глубокой проникновенностью скорбь, мольбу, нежность, – и слезы, которые она вызывала у вас, мгновенно изгоняли из вашего сердца воспоминание о всех чудесах, которые расточала перед вами Фаустина. Ибо существует талант, так сказать, материальный, и существует гений души. Есть то, что забавляет, и то, что трогает… Есть то, что удивляет, и то, что восхищает… Я прекрасно знаю, что вокальные фокусы теперь в моде, но если я и показывал их своим ученикам как полезные аксессуары, то почти готов в этом раскаяться, когда слышу, как большинство моих учеников ими злоупотребляет, жертвуя необходимым ради излишнего и длительным умилением публики ради мимолетных возгласов удивления и лихорадочного восторга.

Никто не стал оспаривать это мнение, неизменно правильное по отношению ко всем видам искусства и применимое ко всем проявлениям таланта истинно артистических натур. Один лишь граф, сгорая желанием узнать, как исполняет Консуэло светскую музыку, стал для вида противоречить чересчур суровым взглядам Порпоры. Но видя, что скромная ученица не только не опровергает ереси своего старого учителя, а напротив, не сводит с него глаз, как бы побуждая его выйти победителем из этого спора, граф решил обратиться к ней самой с вопросом, сможет ли она петь на сцене с тем же умением и чистотой, с какими пела в церкви.

– Сомневаюсь, – ответила она с искренним смирением, – чтобы мне удалось найти такое же вдохновение на сцене; боюсь, что там я много потеряю.

– Этот скромный и умный ответ успокаивает меня, – сказал граф. – Я уверен, что публика, страстная, увлекающаяся, правда немного капризная, вдохновит вас и вы снизойдете изучить те трудные, но полные блеска арии, которых публика с каждым днем жаждет все больше и больше.

– Изучить! – с ударением проговорил Порпора, саркастически улыбаясь.

– Изучить! – воскликнул Андзолетто с гордым презрением.

– Да, да, конечно, изучить, – согласилась с обычной своей кротостью Консуэло. – Хоть я немного и упражнялась в этом жанре, но не думаю, чтобы уже теперь была в состоя-

нии соперничать со знаменитыми певицами, выступавшими на нашей сцене…

– Ты лжешь! – с горячностью вскричал Андзолетто. – Синьор граф, она лжет. Заставьте ее спеть самые трудные колоратурные арии вашего репертуара, и вы увидите, на что она способна!

– Если б только я не боялся, что она устала… – нерешительно проговорил граф, а глаза его уже зажглись нетерпеливым ожиданием.

Консуэло по-детски вопросительно взглянула на Порпору, как бы ожидая его приказаний.

– Ну что ж, – сказал профессор, – она не так легко устает, и раз здесь собрался столь тесный и приятный кружок, давайте проэкзаменуем ее по всем статьям. Не угодно ли вам, высокочтимый граф, выбрать арию и самому проаккомпанировать ей на клавесине?

– Боюсь, что ее пение и ее присутствие так взволнуют меня, что я буду брать фальшивые ноты, – ответил Дзустиньяни. – Почему бы вам, маэстро, самому не аккомпанировать ей?

– Я хочу видеть ее поющей, – ответил Порпора. – Сказать по правде, слушая ее, я ни разу не подумал на нее взглянуть. А мне надо знать, как она держится, что проделывает со своим ртом и глазами. Иди же, дочь моя, в числе твоих экзаменаторов буду и я.

– В таком случае я сам буду аккомпанировать ей, – заявил

Андзолетто, усаживаясь за клавесин.

– Вы будете слишком смущать меня, маэстро, – обратилась Консуэло к Порпоре.

– Смущение – признак глупости, – ответил учитель, – тот, кто по-настоящему любит искусство, ничего не боится. Если ты трусишь, значит, ты тщеславна. Если будешь не на высоте, значит, способности твои дутые, и я первый заявлю: «Консуэло никуда не годится!».

И, нисколько не заботясь о том, как губительно может подействовать столь нежное подбадривание, профессор надел очки, уселся против своей ученицы и стал отбивать такт, чтобы дать правильный темп ритурнели. Выбор пал на блестящую, причудливую и трудную арию из комической оперы Галуппи «Diavolessa»[16]; граф пожелал сразу перейти на жанр, диаметрально противоположный тому, в котором Консуэло произвела такой фурор в это утро. Благодаря огромному дарованию, девушка, почти не упражняясь, самостоятельно добилась умения проделывать своим гибким и сильным голосом все известные в то время вокальные фигуры. Правда, Порпора сам советовал ей делать эти упражнения и изредка прослушивал ее, желая убедиться, что она не совсем их забросила, но, в общем, уделял этому жанру так мало времени и внимания, что даже не подозревал, на что способна в нем его удивительная ученица. Чтобы отомстить учителю за его жестокость и подшутить над ним, Консуэло ре-

---

[16] «Дьяволица» (*итал.*).

шилась уснастить причудливую арию из «Diavolessa» множеством фиоритур и пассажей, дотоле считавшихся невыполнимыми. При этом она импровизировала так просто, словно читала их по нотам и старательно разучивала прежде. В ее импровизациях было столько искусных модуляций, столько выразительности и поистине дьявольской энергии, а сквозь эту бурную веселость внезапно прорывалось такое мрачное отчаяние, что слушатели переходили от восхищения к ужасу, и Порпора, вскочив с места, громко воскликнул:

– Да ты сама воплощенный дьявол!

Консуэло закончила арию сильным крещендо, вызвавшим неистовые крики восторга, и со смехом опустилась на стул.

– Ах ты скверная девчонка! – сказал ей Порпора. – Тебя мало повесить! Ну и подшутила же ты надо мной! Утаила от меня половину своих знаний, половину возможностей! Давно мне нечему было тебя учить, а ты лицемерно продолжала брать у меня уроки, – быть может, для того, чтобы похитить все мои тайны композиции и преподавания, превзойти меня во всем, а потом выставить старым педантом.

– Маэстро, – возразила Консуэло, – я только повторила то, что вы сами проделали с императором Карлом. Помните, вы мне рассказывали об этом эпизоде? Император не выносил трелей и запретил вам вводить их в вашу ораторию, и вот вы, послушно выполнив его волю почти до конца, приготовили ему в последней фуге хорошенький дивертисмент: начали фугу четырьмя восходящими трелями, а потом ста-

ли без конца повторять их в ускоренном темпе всеми голосами. Вы только что осуждали злоупотребление вокальными фокусами, а потом сами приказали мне исполнить их. Вот почему я преподнесла их вам в таком количестве – хотела доказать, что и я способна на излишества. А теперь прошу простить меня.

– Я уже сказал тебе, что ты сущий дьявол, – ответил Порпора. – А теперь спой-ка нам что-нибудь человеческое. И пой, как знаешь сама, – я вижу, что больше не в состоянии быть твоим учителем.

– Вы всегда будете моим уважаемым, моим любимым учителем! – воскликнула девушка, бросаясь ему на шею и горячо обнимая его. – Целых десять лет вы кормили и учили меня. О, дорогой учитель! Говорят, вам знакома людская неблагодарность. Пусть же Бог сию минуту отнимет у меня любовь, пусть отнимет голос, если в сердце моем найдется хоть одна ядовитая капля гордости и неблагодарности!

Порпора побледнел, пробормотал несколько слов и отечески поцеловал свою ученицу в лоб, уронив на него слезу. Она не решилась стереть ее и долго чувствовала, как на ее лбу высыхала эта холодная, мучительная слеза заброшенной старости, непризнанного гения. Слеза эта произвела на Консуэло глубокое впечатление, наполнила душу каким-то мистическим ужасом, убив в ней оживление и веселость на весь остаток вечера. После целого часа восторженных похвал, возгласов изумления и бесплодных усилий рассеять ее грусть все

стали просить ее показать себя и в трагической роли. Она исполнила большую арию из оперы «Покинутая Дидона» Йомелли. Никогда до сих пор не чувствовала она такой потребности излить свою тоску. Она была великолепна, проста, величественна и еще более прекрасна, чем в церкви: лихорадочный румянец залил ей щеки, глаза метали искры. Исчезла святая, на ее месте была женщина, пожираемая любовью. Граф, его друг Барбериго, Андзолетто, все присутствующие, кажется даже старик Порпора, совсем обезумели. Клоринда задыхалась от отчаяния. Граф объявил Консуэло, что завтра же будет составлен и подписан ее ангажемент, и она попросила его обещать ей еще одну милость, причем обещать, не спрашивая, в чем эта милость будет заключаться, – как некогда делали рыцари. Граф дал ей слово, и все разошлись, испытывая то восхитительное волнение, какое вызывает в нас все великое и гениальное.

Глава XIII

В то время как Консуэло одерживала победу за победой, Андзолетто жил только ею, совершенно забыв о себе; но когда граф, прощаясь с гостями, объявил об ангажементе его невесты, не сказав ни слова о его собственном, он вспомнил, как холоден был с ним Дзустиньяни все последние часы, и страх потерять навсегда его расположение отравил всю радость юноши. У него мелькнула мысль оставить Консуэло на лестнице в обществе Порпоры, а самому вернуться к своему покровителю и броситься к его ногам, но так как он в эту минуту ненавидел графа, то, к чести его будь сказано, все-таки удержался от такого унижения. Когда же, попрощавшись с Порпорой, он собрался было пойти с Консуэло вдоль канала, его остановил гондольер графа и сказал, что, по приказанию его сиятельства, гондола ожидает синьору Консуэло, чтобы отвезти ее домой. Холодный пот выступил на лбу Андзолетто.

– Синьора привыкла ходить на собственных ногах, – грубо отрезал он. – Она очень благодарна графу за его любезность.

– А по какому праву вы отказываетесь за нее? – спросил граф, который шел за ними следом.

Оглянувшись, Андзолетто увидел Дзустиньяни: граф был не в том виде, в каком обыкновенно хозяева провожают своих гостей, а в плаще, при шпаге, со шляпой в руке, как чело-

век, приготовившийся к ночным похождениям. Андзолетто пришел в такую ярость, что готов был вонзить в грудь Дзустиньяни тот тонкий, остро отточенный нож, который всякий венецианец из народа всегда прячет в каком-нибудь потайном кармане своей одежды.

– Надеюсь, синьора, – обратился граф к Консуэло решительным тоном, – вы не захотите обидеть и огорчить меня, отказавшись от моей гондолы и не позволив усадить вас в нее.

Доверчивая Консуэло, совершенно не подозревая того, что происходило вокруг нее, приняла это предложение, поблагодарила и, опершись своим красивым округлым локтем на руку графа, без церемоний прыгнула в гондолу. Тут между графом и Андзолетто произошел безмолвный, но выразительный диалог. Граф, стоя одной ногой на берегу, а другой в лодке, смерил Андзолетто взглядом, а тот, застыв на последней ступеньке лестницы, тоже впился взором в Дзустиньяни. Разъяренный, он держал руку на груди под курткой, сжимая рукоятку ножа. Еще один шаг к гондоле – и граф встретил бы смерть. Чисто венецианской чертой в этой мгновенной молчаливой сцене было то, что оба соперника наблюдали друг за другом и ни тот, ни другой не стремился ускорить неминуемую катастрофу. Граф, в сущности, намеревался своей кажущейся нерешительностью лишь помучить соперника, и помучил его всласть, хотя видел и отлично понял жест Андзолетто, приготовившегося заколоть его. У Андзолетто то-

же хватило силы воли ждать, не выдавая себя, пока граф соблаговолит кончить свою жестокую шутку или простится с жизнью. Длилось это минуты две, показавшиеся ему вечностью. Граф, выдержав их со стоическим презрением, почтительно поклонился Консуэло и, повернувшись к своему питомцу, сказал:

– Я позволяю вам также войти в мою гондолу, впредь вы будете знать, как должен вести себя воспитанный человек.

Он посторонился, чтобы пропустить Андзолетто, и, приказав гондольерам грести к Корте-Минелли, остался на берегу, неподвижный, как статуя. Казалось, он спокойно ждал нового покушения на свою жизнь со стороны униженного соперника.

– Откуда графу известно, где ты живешь? – было первое, что спросил Андзолетто у своей подруги, как только дворец Дзустиньяни скрылся из вида.

– Я сама сказала ему, – ответила Консуэло.

– А зачем ты сказала?

– Затем, что он у меня спросил.

– Неужели ты не догадываешься, для чего ему понадобилось это знать?

– Очевидно, для того, чтобы приказать отвезти меня домой.

– Ты думаешь, только для этого? А не для того ли, чтобы самому явиться к тебе?

– Явиться ко мне? Какой вздор! В такую жалкую лачугу?

Это было бы с его стороны чрезмерной любезностью, и мне совсем она не нужна.

– Хорошо, что она не нужна тебе, Консуэло, так как результатом этой чрезмерной чести мог бы быть для тебя чрезмерный позор.

– Позор? Почему? Право, я совершенно тебя не понимаю, милый Андзолетто. И меня удивляет, почему, вместо того чтобы радоваться со мной нашему сегодняшнему неожиданному и невероятному успеху, ты говоришь мне какие-то странные вещи.

– Неожиданному – это правда, – с горечью заметил Андзолетто.

– А мне казалось, что и в церкви и вечером во дворце, когда мне аплодировали, ты был в еще большем восторге, чем я. Ты кидал на меня такие пламенные взгляды, что я с особенной силой ощущала свое счастье; ведь я видела, как оно отражается на твоем лице. Но вот уже несколько минут, как ты мрачен и сам не свой, – таким ты бываешь иногда, когда у нас нет хлеба или когда будущее рисуется нам с тобой неверным и печальным.

– А что хорошего сулит мне будущее? Быть может, оно в действительности не так уж неверно, но радоваться мне нечему.

– Чего же еще тебе нужно? Неделю тому назад ты дебютировал у графа и произвел фурор…

– Твой успех у графа затмил его, моя дорогая, ты и сама

это отлично знаешь.

– Надеюсь, что нет, но если бы даже и так, мы не можем завидовать друг другу.

Консуэло сказала это с такой нежностью, с такой подкупающей искренностью, что Андзолетто сразу успокоился.

– Да, ты права! – воскликнул он, прижимая невесту к груди. – Мы не можем завидовать друг другу, так же как не можем обмануть друг друга.

Произнося последние слова, он с угрызением совести вспомнил о начатой интрижке с Кориллой, и вдруг у него мелькнула мысль, что граф, желая окончательно проучить его, непременно расскажет обо всем Консуэло, как только ему покажется, что она хоть немного поощряет его надежды. При этой мысли он снова помрачнел, Консуэло тоже задумалась.

– Почему ты сказал, – проговорила она после некоторого молчания, – что мы не можем обмануть друг друга? Конечно, это правда, но почему ты вдруг подумал об этом?

– Знаешь, прекратим этот разговор в гондоле, – прошептал Андзолетто. – Боюсь, что гондольеры подслушают нас и передадут все графу. Эти занавески из бархата и шелка очень тонки, а уши у дворцовых гондольеров раза в четыре шире и глубже, чем у наемных. Позволь мне подняться к тебе в комнату, – попросил он Консуэло, когда они пристали к берегу у Корте-Минелли.

– Ты знаешь, что это против наших привычек и против

нашего уговора, – отвечала она.

– О, не отказывай мне, – вскричал Андзолетто, – не приводи меня в отчаяние и бешенство!

Испуганная его словами и тоном, Консуэло не решилась отказать ему. Она зажгла лампу, опустила занавески и, увидав своего жениха мрачным и задумчивым, обняла его.

– Скажи, что с тобой? – грустно спросила она. – У тебя такой несчастный, встревоженный вид сегодня вечером.

– А сама ты не знаешь, Консуэло? Не догадываешься?

– Нет, даю тебе слово!

– Так поклянись, что ты ничего не подозреваешь, поклянись мне душой твоей матери, поклянись распятием, перед которым ты молишься утром и вечером…

– О! Клянусь тебе распятием и душой моей матери!

– А нашей любовью клянешься?

– Да, и нашей любовью, и нашим вечным спасением…

– Я верю тебе, Консуэло: ведь если бы ты солгала, это была бы первая ложь в твоей жизни.

– Ну, а теперь ты объяснишь мне, в чем же дело?

– Я ничего тебе не объясню, но, быть может, очень скоро ты поймешь меня… О! Когда наступит эта минута, тебе и так все будет слишком ясно… Горе, горе будет нам обоим в тот день, когда ты узнаешь о моих теперешних муках!

– О Боже! Какое же ужасное несчастье грозит нам? Боюсь, что в эту убогую комнату, где до сих пор у нас с тобой не было секретов друг от друга, мы вернулись преследуемые ка-

ким-то злым роком. Недаром, уходя отсюда сегодня утром, я предчувствовала, что возвращусь в отчаянии. Что же я такого сделала, что мне нельзя насладиться днем, который казался таким прекрасным? Я ли не молила Бога так искренне, так горячо! Я ли не отбросила всякие мысли о гордости! Я ли не старалась петь как только могла лучше! И разве я не огорчалась унижением Клоринды! Разве не заручилась обещанием графа пригласить ее вместе с нами на вторые роли, причем он не подозревает, что дал мне это обещание и уже не может взять назад свое слово! Повторяю: что же сделала я дурного, чтобы переносить те муки, какие ты мне предсказываешь и какие я уже испытываю, раз их испытываешь ты?

– Ты в самом деле хочешь устроить ангажемент для Клоринды, Консуэло?

– Я добьюсь этого, если только граф – человек слова. Бедняжка всегда мечтала о театре, и это единственная возможная для нее будущность…

– И ты надеешься, что граф откажет Розальбе, которая хоть кое-что знает, ради невежественной Клоринды?

– Розальба не расстанется с Кориллой – ведь они сестры, они уйдут вместе. Клориндой же мы с тобой займемся и научим ее использовать наилучшим образом свой милый голосок. А публика всегда будет снисходительна к такой красавице. Наконец, если мне удастся устроить ее хотя бы на третьи роли, уже и то хорошо: это будет первым шагом в ее карьере, началом ее самостоятельного существования.

– Ты просто святая, Консуэло! И ты не понимаешь, что эта облагодетельствованная тобой дура, которая должна бы почитать себя счастливой, если ее возьмут на третьи или даже на четвертые роли, никогда не простит тебе того, что сама ты на первых?

– Что мне до ее неблагодарности! Увы! Я слишком хорошо знаю, что такое неблагодарность и неблагодарные!

– Ты? – И Андзолетто расхохотался, целуя ее с прежней братской нежностью.

– Конечно, – ответила она, радуясь, что ей удалось отвлечь своего друга от грустных дум. – В моей душе постоянно живет и всегда будет жить благородный образ Порпоры. Он часто высказывал при мне глубокие, полные горечи мысли. Должно быть, он считал, что я не в состоянии понять их, но они запали мне в душу и останутся в ней навсегда. Этот человек много страдал, горе гложет его, и вот из его печалей, из его глубокого негодования, из речей, которые я слышала от него, я сделала вывод, что артисты гораздо опаснее и злее, чем ты, дорогой мой, предполагаешь. Я знаю также, что публика легкомысленна, забывчива, жестока, несправедлива. Знаю, что блестящая карьера – тяжкий крест, а слава – терновый венец! Да, все это для меня не тайна. Я так много думала, так много размышляла об этих вещах, что, кажется, ничто уже не сможет удивить меня, и если когда-нибудь мне самой придется столкнуться со всем этим, я найду в себе силы не унывать. Вот почему, как ты мог заметить, я не бы-

ла опьянена своим сегодняшним успехом, вот почему также я не падаю духом от твоих мрачных мыслей. Я еще не понимаю их хорошенько, но уверена, что с тобой, если ты будешь любить меня, я не стану человеконенавистницей, подобно моему бедному учителю, этому благородному старику и несчастному ребенку.

Слушая свою подругу, Андзолетто снова приободрился и повеселел. Консуэло имела на него огромное влияние. С каждым днем он обнаруживал в ней все большую твердость и прямодушие – качества, которых так не хватало ему самому. Поговорив с ней четверть часа, он совершенно забыл о муках ревности, и, когда она снова начала расспрашивать о причине его беспокойства, ему стало стыдно, что он мог заподозрить такое чистое, целомудренное существо. Он тут же придумал объяснение.

– Я боюсь одного: чтобы граф не нашел меня недостойным выступать перед публикой рядом с тобой. Сегодня он не предлагал мне петь, а я, по правде сказать, ожидал, что он предложит нам с тобой исполнить дуэт. По-видимому, он совсем забыл о моем существовании; даже не заметил, что, аккомпанируя тебе на клавесине, я совсем недурно с этим справился. Наконец, говоря о твоем ангажементе, он не заикнулся о моем. Как не обратила ты внимание на такую странность?

– Мне и в голову не пришло, что граф, приглашая меня, может не пригласить тебя. Да разве он не знает, что я согла-

шусь только при этом условии? Разве не знает, что мы жених и невеста, что мы любим друг друга? Разве ты не говорил ему об этом совершенно определенно?

– Говорил, но, быть может, Консуэло, он считает это хвастовством с моей стороны?

– В таком случае я сама похвастаюсь моей любовью к тебе, Андзолетто! Уж я так ее распишу, что он мне поверит! Но только ты ошибаешься, друг мой! Если граф не счел нужным заговорить с тобой об ангажементе, то только потому, что это дело решенное с того самого дня, когда ты выступал у него с таким успехом.

– Решенное, но не подписанное! А твой ангажемент будет подписан завтра. Он сам сказал тебе об этом.

– Неужели ты думаешь, что я подпишу первая? Уж конечно, нет! Хорошо, что ты меня предостерег. Мое имя будет написано не иначе, как под твоим.

– Ты клянешься?

– Как тебе не стыдно! Заставлять меня клясться в том, в чем ты уверен! Право, ты меня сегодня не любишь или хочешь помучить; у тебя такой вид, словно ты не веришь, что я тебя люблю.

Тут на глаза девушки навернулись слезы, и она опустилась на стул, слегка надувшись, что придало ей еще больше очарования.

«В самом деле, какой я дурак, – подумал Андзолетто, – совсем с ума спятил. Как мог я допустить мысль, что граф

соблазнит такое чистое, беззаветно любящее меня существо! Он достаточно опытен и, конечно, понял с первого взгляда, что Консуэло не для него. И разве он проявил бы такое великодушие сегодня вечером, позволив мне войти в гондолу вместо себя, если бы не был уверен, что окажется перед ней в жалкой и смешной роли фата? Нет! Конечно, нет! Моя судьба обеспечена, мое положение непоколебимо. Пусть Консуэло ему нравится, пусть он ухаживает за ней, пусть даже влюбится в нее, – все это будет только способствовать моей карьере: она сумеет добиться от него всего, не подвергая себя никакой опасности. Скоро она будет разбираться в этих делах лучше меня. Она сильна и осторожна. Домогательства милейшего графа лишь послужат мне на пользу, принесут мне славу».

И, отрешившись от всех своих сомнений, он бросился к ногам подруги, отдаваясь порыву страстного восторга, который испытывал впервые, но который в последние несколько часов подавляла охватившая его ревность.

– Красавица моя! – воскликнул он. – Святая! Дьяволица! Королева! Прости, что я думал о себе, вместо того чтобы, оказавшись в этой комнате наедине с тобой, с обожанием повергнуться перед тобой ниц. Сегодня утром я вышел отсюда, ссорясь с тобой, и должен был вернуться не иначе, как на коленях! Как можешь ты меня любить, как можешь еще улыбаться такой скотине, как я? Сломай свой веер о мою физиономию, Консуэло! Наступи мне на голову своей хорошень-

кой ножкой! Ты неизмеримо выше меня, и с сегодняшнего дня я навеки твой раб!

– Я не заслуживаю всех этих громких слов, – сказала она, обнимая его. – А растерянность твою я понимаю и прощаю. Я вижу, что только страх разлуки со мной, страх, что нашей единой, общей жизни будет положен конец, внушил тебе эту печаль и сомнения. У тебя не хватило веры в Бога – и это гораздо хуже, чем если бы ты обвинил в какой-нибудь низости меня. Но я буду молиться за тебя, я скажу: «Господи, прости ему, как я ему прощаю!».

Консуэло была очень хороша в эту минуту, она говорила о своей любви так просто и так естественно, примешивая к ней, по своему обыкновению, испанскую набожность, полную человеческой нежности и наивной уступчивости. Усталость и волнения пережитого дня разлили в ней такую соблазнительную негу, что Андзолетто, и без того уже возбужденный ее необычайным успехом, увидел девушку в совершенно новом свете и вместо обычной спокойной и братской любви почувствовал к ней прилив жгучей страсти. Он был из тех, кто восхищается только тем, что нравится другим, чему завидуют и оспаривают другие. Радость сознания, что он обладает предметом стольких вожделений, разгоревшихся и бушевавших вокруг Консуэло, пробудила в нем безумные желания, и впервые она была в опасности, находясь в его объятиях.

– Будь моей возлюбленной! Будь моей женой! – задыха-

ясь, воскликнул он. – Будь моей, моей навсегда!

– Когда хочешь, хоть завтра, – с ангельской улыбкой ответила Консуэло.

– Завтра? Почему завтра?

– Ты прав, теперь уже за полночь, – значит, мы можем обвенчаться еще сегодня. Как только рассветет, мы отправимся к священнику. Родителей у нас нет, ни у меня, ни у тебя, а венчальный обряд не потребует долгих приготовлений. У меня есть ненадеванное ситцевое платье. Знаешь, друг мой, когда я его шила, я говорила себе: «У меня нет денег на подвенечное платье, и, если моему милому не сегодня-завтра захочется со мной обвенчаться, мне придется быть в надеванном платье, а это, говорят, приносит несчастье». Недаром матушка, которую я видела во сне, взяла его и спрятала в шкаф: она, бедная, знала, что делает. Итак, все готово: с восходом солнца мы с тобой поклянемся друг другу в верности. Ага, негодный, тебе нужно было сперва убедиться в том, что я не урод?

– Ах, Консуэло, какой ты еще ребенок! Настоящий ребенок! – с тоской воскликнул Андзолетто. – Разве можно так, вдруг, обвенчаться тайно от всех! Граф и Порпора, покровительство которых нам еще необходимо, очень рассердятся, если мы решимся на этот шаг, не посоветовавшись с ними, даже не известив их. Твой старый учитель недолюбливает меня, а граф, я это знаю из верных источников, не любит замужних певиц. Значит, чтобы добиться их согласия на наш

брак, нужно время. А если даже мы и решим обвенчаться тайно, то нам понадобится по крайней мере несколько дней, чтобы втихомолку устроить все это. Не можем же мы побежать в церковь Сан-Самуэле, где все нас знают и где достаточно будет присутствия одной старушонки, чтобы весть об этом в какой-нибудь час разнеслась по всему приходу.

– Я как-то не подумала об этом, – сказала Консуэло. – Так о чем же ты мне говорил только что? Зачем ты, недобрый, сказал мне: «Будь моей женой», если знал, что пока это невозможно? Ведь не я первая заговорила об этом, Андзолетто. Правда, я часто думала, что мы уже в том возрасте, когда можно пожениться, но хотя мне никогда не приходили в голову те препятствия, о которых ты говоришь, я предоставляла решение этого вопроса тебе, твоему благоразумию и еще – знаешь чему? – твоей доброй воле. Я ведь прекрасно видела, что ты не торопишься со свадьбой, но не сердилась на тебя. Ты часто повторял, что, прежде чем жениться, надо обеспечить будущность своей семье, надо иметь средства. Моя мать была того же мнения, и я нахожу это благоразумным. Стало быть, со свадьбой придется подождать. Надо, чтобы оба наши ангажемента были подписаны, не так ли? И еще – надо заручиться успехом у публики. Что ж, мы вернемся к этому разговору после наших дебютов. Но отчего ты так побледнел, Андзолетто? Боже мой, отчего ты сжимаешь кулаки? Разве мы не счастливы? Разве мы непременно должны быть связаны клятвой, чтобы любить и надеяться друг на

друга?

– О Консуэло! Как ты спокойна! Как ты чиста и как холодна! – с каким-то бешенством вскричал Андзолетто.

– Я? Я холодна? – в свою очередь вскричала, недоумевая, юная испанка, пунцовая от негодования.

– Я люблю тебя как женщину, а ты слушаешь и отвечаешь мне, точно малое дитя. Ты знаешь только дружбу, ты не имеешь даже понятия о любви. Я страдаю, пылаю, я умираю у твоих ног, а ты мне говоришь о каком-то священнике, о каком-то платье, о театре…

Консуэло, стремительно вскочившая было с места, теперь опять села, смущенная, дрожа всем телом. Она долго молчала, а когда Андзолетто снова захотел обнять ее, тихонько оттолкнула его.

– Послушай, – сказала она, – нам необходимо объясниться, узнать друг друга. Ты, видно, и в самом деле считаешь меня ребенком. Было бы жеманством с моей стороны уверять, будто я не понимаю того, что давно уже прекрасно поняла. Недаром я со всякого рода людьми исколесила три четверти Европы, недаром насмотрелась на распущенные, дикие нравы бродячих артистов, недаром – увы! – догадывалась о плохо скрываемых тайнах моей бедной матери, чтобы не знать того, что, впрочем, всякая девушка из народа моих лет прекрасно знает. Но я не могла поверить, Андзолетто, что ты хочешь принудить меня нарушить клятву, которую я дала Богу в присутствии моей умирающей матери. Я не осо-

бенно дорожу тем, что аристократки – до меня подчас долетают их разговоры – называют репутацией. Я слишком незаметное существо, чтобы обращать внимание на то, что люди думают о моей чести, – для меня честь состоит в том, чтобы исполнять свои обещания, и, по-моему, к тому же самому обязывает тебя и твоя честь. Быть может, я не настолько хорошая католичка, как мне хотелось бы, – меня ведь так мало учили религии. Конечно, у меня не может быть таких прекрасных правил поведения, таких высоких понятий о нравственности, как у учениц, растущих в монастыре и слушающих богословские поучения с утра до ночи. Но у меня есть своя религия, и я придерживаюсь ее как умею, как могу. Я не считаю, что наша любовь, становясь с годами все более пылкой, должна стать от этого менее чистой. Я не скуплюсь на поцелуи, которые дарю тебе, но знаю, что мы не ослушались моей матери, и не хочу ослушаться ее только для того, чтобы удовлетворить нетерпеливые порывы, которые легко можно обуздать.

– Легко! – воскликнул Андзолетто, горячо прижимая ее к груди. – Легко! Я так и знал, что ты холодна!

– Пусть я буду холодна! – вырываясь из его объятий, воскликнула Консуэло. – Но Господь, читающий в моем сердце, знает, как я тебя люблю.

– Так иди же к нему! – крикнул Андзолетто с досадой. – Со мной тебе небезопасно. И я убегаю, чтобы не стать нечестивцем.

Он бросился к двери, рассчитывая на то, что Консуэло, которая никогда не отпускала его без примирения, даже если между ними возникала самая пустячная ссора, удержит его и на этот раз. Она действительно стремительно кинулась было за ним, но потом остановилась; когда он вышел, она подбежала к двери, схватилась уже за ручку, чтобы отворить ее и позвать его обратно, но вдруг, сделав над собой невероятное усилие, заперла дверь и, обессиленная жестокой внутренней борьбой, без чувств свалилась на пол. Так, недвижимо, и пролежала она до утра.

Глава XIV

– Признаюсь тебе, я влюблен в нее до безумия, – говорил граф Дзустиньяни своему другу Барбериго этой же теплой и тихой ночью, сидя с ним в два часа утра на балконе своего дворца.

– Тем самым ты даешь понять, что я не должен влюбляться в нее, – отозвался юный и блестящий Барбериго. – Подчиняюсь, ибо право первенства за тобой. Но если Корилле удастся снова захватить тебя в свои сети, сделай милость, предупреди меня – тогда и я попытаю счастья…

– Не мечтай об этом, если ты меня любишь! Корилла всегда была для меня только забавой. Однако я вижу по твоему лицу, что ты смеешься надо мной.

– Нет, но мне кажется, что забава эта носила весьма серьезный характер, раз она заставляла тебя бросать столько денег и творить столько безумств.

– Предположим, что я вообще отношусь к своим забавам с таким жаром, что готов на все, лишь бы их продлить. Но на сей раз это больше, чем увлечение, – это, право же, истинная страсть. Никогда в жизни я не встречал существа, которое было бы так своеобразно красиво, как Консуэло. Она словно светильник: по временам пламя его начинает угасать, но в ту минуту, когда он, кажется, совсем уже готов потухнуть, это пламя разгорается так ярко, что сами звезды, выражаясь

языком поэтов, бледнеют перед ним.

– Ах! – проговорил, вздыхая, Барбериго. – Это черное платье, беленькая косыночка, этот полунищенский, полумонашеский наряд, бледное спокойное лицо, такое незаметное на первый взгляд, естественная манера держаться, без всякого кокетства, – как эта девушка меняется, какой божественной становится она, когда, вдохновленная своим гением, начинает петь! Счастливец Дзустиньяни, в чьих руках судьба этой нарождающейся славы!

– Как мало верю я в то счастье, которому ты завидуешь! Напротив, я боюсь, что в ней нет ни одной из тех хорошо знакомых мне женских страстей, на которых так легко играть. Поверишь ли, друг, эта девочка так и осталась для меня загадкой, несмотря на то что я целый день следил за ней, изучал ее. Мне кажется, судя по ее спокойствию и моей неловкости, что я совсем потерял голову.

– Да, по-видимому, ты влюблен в нее более, чем следует, раз ты положительно ослеп. Я же лишен надежды, а потому вижу ясно, и сейчас в трех словах объясню тебе то, что тебе непонятно. Консуэло – цветок невинности. Она любит этого юнца Андзолетто и будет любить его еще несколько дней. Если ты грубо коснешься этой детской привязанности, ты только усилишь ее, но если ты сделаешь вид, будто не обращаешь на нее внимания, Консуэло, сравнивая вас обоих, быстро охладеет к своему избраннику.

– Но он красив, как Аполлон, этот негодный мальчишка!

У него великолепный голос; он будет иметь успех. Уже и Корилла сходит по нем с ума. С таким соперником нельзя не считаться, когда перед тобой девушка, у которой есть глаза!

– Да, но он беден, а ты богат, он неизвестен, а ты всемогущ, – возразил Барбериго. – Главное – узнать, кто он ей: любовник или друг. В первом случае разочарование наступит для Консуэло скорее. Во втором же между ними будет борьба, колебания, и все это продлит твои мучения.

– Значит, по-твоему, мне нужно желать того, чего я страшусь, одна мысль о чем приводит меня в бешенство. А что об этом думаешь ты сам?

– По-моему, они не любовники.

– Но это невероятно: мальчишка развращен, смел, пылок, наконец, нравы подобных людей…

– Консуэло – чудо во всех отношениях. А ты, дорогой Дзустиньяни, несмотря на все свои победы у прекрасного пола, все еще, я вижу, недостаточно опытен, если не понял из разговоров с этой девушкой, из ее взглядов, даже из ее движений, что она чиста, как горный хрусталь.

– Ты приводишь меня в восторг!

– Берегись! Это безумие, предрассудок! Если ты любишь Консуэло, надо завтра же выдать ее замуж. Через неделю ее повелитель даст ей почувствовать всю тяжесть надетых на нее цепей, все муки ревности, всю скуку постоянно иметь возле себя неприятного, несправедливого и неверного стража. А красавец Андзолетто будет именно таким. Я доста-

точно наблюдал его вчера в обществе Консуэло и Клоринды, чтобы иметь возможность безошибочно предсказать все его будущие ошибки и беды. Последуй моему совету, друг, и ты будешь мне благодарен. Брачные узы легко расторжимы между людьми этого класса, и ты сам знаешь, что любовь этих женщин – пламенный каприз, а препятствия только раздувают огонь.

– Твои слова приводят меня в отчаяние, а между тем я сознаю, что ты прав.

На беду для планов графа Дзустиньяни, разговор этот имел слушателя, на которого они вовсе не рассчитывали и который не пропустил из него ни единого слова. Покинув Консуэло, Андзолетто, вновь охваченный ревностью, отправился бродить вокруг дворца своего покровителя. Он жаждал убедиться, что граф не замышляет похищения, которые были в большой моде в то время и для аристократов почти всегда проходили безнаказанно. Андзолетто не слышал продолжения разговора двух друзей: луна поднялась над дворцом, тень юноши начинала все яснее и яснее обрисовываться на мостовой, и молодые вельможи, заметив, что кто-то стоит под балконом, ушли в комнаты, закрыв за собой дверь.

Андзолетто скрылся и отправился обдумывать то, что ему удалось услышать. Этого разговора было вполне достаточно, чтобы он понял, как себя вести, как использовать добродетельные советы, которые дал Барбериго своему другу. Только под утро он заснул на каких-нибудь два часа, затем вско-

чил и побежал на Корте-Минелли. Дверь у Консуэло была еще заперта, но сквозь щель ему удалось разглядеть свою подругу, спящую одетой на кровати, неподвижную и бледную, как труп: предрассветный холод привел ее в чувство, и, поднявшись с пола, она бросилась на свою кровать, не имея сил раздеться. Встревоженный Андзолетто молча стоял у двери, мучимый угрызениями совести. Наконец, видя, что девушка продолжает пребывать в какой-то летаргии, столь не похожей на ее обычный чуткий сон, он, страшно перепуганный, вынул нож и, просунув его в щель двери, отодвинул засов. При этом не обошлось без некоторого шума, но Консуэло была до того измучена, утомлена, что не проснулась. Андзолетто вошел, запер за собой дверь, опустился на колени у ложа девушки и стал ждать ее пробуждения. Когда Консуэло, открыв глаза, увидела своего друга, она вскрикнула было от радости и обняла его, но вслед за тем отдернула руки и с ужасом отшатнулась.

– Я вижу, ты боишься меня теперь и, вместо того чтобы поцеловать меня, хочешь убежать! – с отчаянием в голосе проговорил Андзолетто. – Да, я жестоко наказан! Прости меня, Консуэло! Я сторожил здесь твой сон больше часа. Разве после этого ты можешь не доверять своему другу? Прости, сестра, в первый и последний раз был у тебя повод рассердиться на меня, оттолкнуть меня, своего брата. Никогда больше я не оскорблю нашей святой любви преступными порывами. И если я не сдержу своей клятвы, брось меня, про-

гони! Вот здесь, у твоей девической постели, где умерла твоя бедная мать, я клянусь относиться к тебе с таким же уважением, с каким относился до сих пор, клянусь даже не целовать тебя, если ты этого не захочешь, пока мы не будем обвенчаны. Скажи, довольна ли ты мной, моя дорогая, моя святая Консуэло?

Консуэло молча прижала к груди белокурую голову венецианца и залилась слезами. Слезы облегчили ее душу, и, снова опустив свою голову на маленькую, жесткую подушку, она тихо проговорила:

– Признаюсь, я чуть жива; всю ночь я не сомкнула глаз – мы так дурно с тобой расстались.

– Спи, Консуэло! Усни, мой ангел! – ответил ласково Андзолетто. – Помнишь ту ночь, когда ты уложила меня на свою постель, а сама тем временем молилась и работала у этого столика? Теперь мой черед сторожить и охранять твой сон. Поспи еще, детка моя, а пока ты будешь дремать часок-другой, я просмотрю твои ноты, про себя почитаю их. Никто не хватится нас раньше вечера, если вообще кто-нибудь еще помнит о нас сегодня. Спи же, этим ты покажешь, что простила и веришь мне.

Консуэло ответила ему блаженной улыбкой. Он поцеловал ее в лоб, уселся за столик, а она заснула благодетельным сном, полным самых сладких грез.

Андзолетто так долго прожил спокойно и невинно вблизи этой девушки, что ему не стоило большого труда после одно-

го дня возбуждения вернуться к своей обычной роли брата. Эта братская любовь была, так сказать, нормальным состоянием его души. К тому же то, что он слышал прошлой ночью под балконом Дзустиньяни, могло только укрепить его решение.

«Спасибо вам, любезные господа, – думал Андзолетто, – вы преподали мне урок вашей собственной морали, и «негодный мальчишка», поверьте, сумеет воспользоваться им не хуже любого повесы-развратника из вашего сословия. Если обладание охлаждает, если права мужа ведут к пресыщенности и отвращению, мы сумеем сохранить в неприкосновенности то пламя, которое, по вашим словам, так легко потушить. Мы сумеем воздержаться и от ревности, и от измены, и даже от наслаждений любви. Ваши пророчества, знатный и мудрый Барбериго, идут впрок, полезно поучиться в вашей школе!».

Среди этих размышлений Андзолетто, тоже совершенно измученный бессонной ночью, задремал, облокотясь на стол. Но сон его был некрепок: как только солнце стало близиться к закату, он вскочил на ноги и подошел посмотреть, не проснулась ли Консуэло. Лучи заходящего солнца, проникая через окно, заливали чудесным пурпурным светом и старую кровать и спящую на ней красивую девушку. Из своей белой кисейной косынки Консуэло сделала нечто вроде полога, привязав ее к филигранному распятию, прибитому у изголовья. Это легкое покрывало грациозно падало на ее гибкое,

замечательно пропорциональное тело. В розовой полумгле она лежала, точно цветок, склонивший под вечер свою головку. Ее великолепные черные волосы разметались по матово-белым плечам, руки были скрещены на груди, как у святой, – девушка казалась такой непорочной и была так божественно хороша, что Андзолетто мысленно воскликнул: «О граф Дзустиньяни, как жаль, что ты не видишь ее в это мгновение, и подле нее меня, ревнивого, неусыпного стража сокровища, которое никогда не достанется тебе!».

В эту самую минуту снаружи послышался легкий шум; тонкий слух Андзолетто уловил плеск воды о домишко, в котором жила Консуэло. К Корте-Минелли редко приставали гондолы, к тому же в этот день Андзолетто был особенно догадлив. Он вспрыгнул на стул и добрался до слухового окошечка, проделанного почти у потолка и выходившего на маленький канал. Тут он увидел графа Дзустиньяни: выйдя из гондолы, тот подошел к полуголым ребятишкам, игравшим на берегу, и стал их о чем-то расспрашивать. В первую минуту Андзолетто не знал, на что решиться: разбудить ли свою подругу, или запереть дверь. Но за те десять минут, которые граф употребил на расспросы и розыски мансарды Консуэло, юноша успел вооружиться дьявольским хладнокровием. Он приоткрыл дверь, для того чтобы в комнату можно было войти беспрепятственно и без шума, а сам вернулся к столику и сделал вид, что пишет ноты. Сердце его колотилось в груди, но лицо было совершенно спокойно, ничуть не выда-

вая внутреннего волнения.

Действительно, граф вошел на цыпочках, желая застигнуть Консуэло врасплох. Нищенская обстановка обрадовала его, показавшись наиболее благоприятным условием обольщения. Он привез с собою уже подписанный им контракт и надеялся, что с таким документом будет принят не слишком сурово. Но при первом же взгляде на это странное святилище, где прелестная девушка спала ангельским сном на глазах своего почтительного или удовлетворенного возлюбленного, бедный Дзустиньяни совсем смутился, запутался в своем плаще, победоносно перекинутом через плечо, и стал топтаться на месте между столом и кроватью, не зная, к кому обратиться. Андзолетто был отомщен за вчерашнюю унизительную сцену у гондолы.

– Ваше сиятельство, господин граф! – воскликнул он, вставая и делая вид, что страшно удивлен этим неожиданным появлением. – Сейчас я разбужу мою… невесту.

– Нет! – ответил граф, который уже успел прийти в себя и повернулся к Андзолетто спиной, чтобы вдоволь наглядеться на Консуэло. – Я счастлив, что вижу ее такою, и запрещаю тебе будить ее.

«Да, да! Любуйся ею! – думал Андзолетто. – Мне только это и нужно».

Консуэло не просыпалась, и граф, понизив голос, с самым ласковым и веселым видом стал выражать свой восторг.

– Ты был прав, Дзото, – сказал он непринужденно, – Кон-

суэло – лучшая певица во всей Италии, а я ошибался, сомневаясь в том, что она еще и красивейшая женщина в мире.

– Но ведь вы, высокочтимый граф, считали ее уродом, – заметил лукаво Андзолетто.

– И ты, конечно, передал ей все мои грубые выражения? Но ничего, я надеюсь искупить их таким крупным штрафом, что тебе не удастся более вредить мне, напоминая ей о моей вине.

– Вредить вам, ваше сиятельство? Как бы я мог это сделать, если бы даже это и пришло мне в голову?

Тут Консуэло слегка пошевелилась.

– Дадим ей спокойно проснуться, чтобы не напугать ее, а ты освободи мне стол. Мне надо разложить на нем и перечитать контракт Консуэло. Вот что, – добавил граф, когда Андзолетто, исполнив его приказание, очистил стол, – пока она спит, ты можешь и сам взглянуть на этот контракт.

– Контракт до пробного дебюта? Да это просто великолепно, о мой благородный покровитель! И дебют немедленно, до окончания срока ангажемента Кориллы?

– Это меня не смущает. Неустойка в тысячу цехинов. Мы заплатим ей, только и всего.

– Но если Корилла пустит в ход интриги?

– Если она пойдет на это, мы упрячем ее в тюрьму.

– Бог мой! Для синьора графа нет преград!

– Да, Дзото, – ответил сухо граф, – мы именно таковы: если уж мы чего-нибудь хотим, то добиваемся этого наперекор

всему и всем.

– Как! Условия ангажемента те же, что у Кориллы? Для дебютантки без имени, без известности те же условия, что для знаменитой певицы, кумира публики?

– Новую певицу будут обожать еще больше. Если же условия прежней певицы ее не удовлетворят, то стоит ей сказать одно слово, и она получит вдвое больше. Все зависит от нее самой, – прибавил граф, слегка повысив голос, так как заметил, что Консуэло просыпается. – Ее судьба в ее руках.

Консуэло, услышав сквозь сон эти слова, протерла глаза и, убедившись, что все это происходит наяву, соскользнула с кровати. Не задумываясь над необычностью такого посещения, она привела в порядок волосы, накинула мантилью и с наивной доверчивостью вмешалась в разговор:

– Вы слишком добры, синьор граф, но я не настолько самонадеянна, чтобы воспользоваться вашей добротой. До дебюта я не подпишу ангажемента. Это было бы недобросовестно с моей стороны. Я могу не понравиться публике, провалиться, быть освистанной. Что, если в этот день я окажусь не в голосе, растеряюсь, наконец, просто буду некрасивой… Связанный словом, вы не возьмете его обратно из гордости, я же слишком горда, чтобы злоупотребить им…

– Некрасивой в такой день, Консуэло! – воскликнул граф, пожирая ее глазами. – Вы – некрасивой? Взгляните на себя, как вы есть, сейчас! – продолжал он, взяв ее за руку и подводя к столу, на котором стояло зеркальце. – Если вы восхи-

тительны в таком костюме, что же будет, когда вы появитесь осыпанная драгоценными камнями, сияющая, торжествующая?!

Андзолетто, видя дерзость графа, чуть не скрежетал от ярости зубами. Но насмешливое равнодушие, с которым Консуэло отнеслась к пошлым ухаживаниям Дзустиньяни, тотчас успокоило его.

– Синьор граф, – сказала она, отталкивая от себя осколок зеркала, который граф поднес к ее лицу, – смотрите не разбейте остаток моего зеркала: у меня никогда не было другого, и я им дорожу, так как оно ни разу не обманывало меня. Кто бы я ни была – урод или красавица, но я отказываюсь от ваших щедрот. К тому же я должна сказать откровенно, что не стану ни дебютировать, ни заключать контракт, если мой жених, который стоит сейчас перед вами, не будет также приглашен в ваш театр, У нас с ним должна быть одна сцена и одна публика. И разлучиться мы не можем, так как собираемся обвенчаться.

Это неожиданное признание немного удивило графа, но он тотчас оправился от своего смущения.

– Вы правы, Консуэло, – ответил он, – и я вовсе не собираюсь вас разлучать. Дзото будет дебютировать вместе с вами. Однако мы не должны закрывать глаза на то, что хоть у него и большой талант, все-таки ему далеко до вас.

– Я думаю иначе, – горячо возразила Консуэло, покраснев при этом, словно обида была нанесена ей самой.

– Знаю, знаю, что он в большей мере ваш ученик, чем ученик того профессора, которого я ему дал, – улыбаясь, заметил Дзустиньяни. – Не отпирайтесь, моя красавица! Помните, Порпора, узнав о вашей дружбе с ним, воскликнул: «Теперь мне понятны некоторые его достоинства, а то я никак не мог их совместить со столькими недостатками».

– Я очень благодарен господину профессору! – принужденно улыбаясь, сказал Андзолетто.

– Ничего, он изменит свое мнение, – весело проговорила Консуэло. – Публика заставит моего дорогого, славного учителя убедиться в обратном.

– Ваш дорогой, славный учитель – лучший судья, лучший знаток пения во всем мире, – возразил граф. – Пусть же Андзолетто продолжает пользоваться вашими указаниями. Это послужит ему только на пользу. Но, повторяю, мы не можем заключить с ним договора, пока не узнаем, как к нему отнесется публика. Пусть он дебютирует, а там, при нашей благосклонности, мы сумеем по справедливости удовлетворить его требования.

– Тогда мы будем дебютировать вместе. Мы ваши покорные слуги, господин граф. Но никакого контракта, никаких подписей до дебюта! На этом я стою твердо…

– Вы, может быть, не вполне довольны теми условиями, которые я вам предлагаю? Так продиктуйте сами, Консуэло. Вот вам перо – сами вычеркните, сами добавляйте; моя подпись внизу.

Консуэло взялась за перо. Андзолетто побледнел, а граф, заметив это, от удовольствия закусил кончик своего кружевного жабо, которое все время теребил. Решительно перечеркнув контракт, Консуэло написала там, где еще оставалось место над подписью графа: «Андзолетто и Консуэло обязуются вместе принять условия, которые будет угодно графу Дзустиньяни им предложить после их дебюта, каковой должен состояться в будущем месяце в театре Сан-Самуэле». Она быстро подписала свое имя, а затем передала перо возлюбленному.

– Подписывай не читая, – сказала она, – этим ты хоть в какой-то мере докажешь твоему благодетелю свою признательность и доверие.

Андзолетто все-таки, прежде чем подписать, быстро пробежал глазами написанное. Граф тоже прочел, глядя через его плечо.

– Консуэло! – воскликнул Дзустиньяни. – Право, вы странная девушка! Удивительное существо! Ну, а теперь идемте оба ко мне обедать, – добавил он, разорвав контракт и предлагая руку Консуэло.

Девушка приняла приглашение, но попросила графа вместе с Андзолетто подождать ее в гондоле, пока она приведет себя в порядок.

«Как видно, у меня будет на что сшить себе подвенечное платье», – подумала Консуэло, оставшись одна.

Она надела ситцевое платье, пригладила волосы и, выбе-

жав на лестницу, понеслась вниз, распевая во весь голос какую-то звонкую музыкальную фразу. Граф, желая проявить особую учтивость, остался с Андзолетто ждать ее на лестнице. Не подозревая, что Дзустиньяни может оказаться так близко, она чуть не упала в его объятия, но, быстро высвободившись, поймала его руку и, по местному обычаю, поднесла к губам с почтительностью подчиненной, не стремящейся перешагнуть через различие в общественном положении. Потом, обернувшись, бросилась на шею жениху и, радостная, шаловливая, прыгнула в гондолу, не дожидаясь помощи своего церемонного покровителя, немного раздосадованного всем происшедшим.

Глава XV

Граф, видя, что Консуэло равнодушна к деньгам, попытался возбудить ее тщеславие, предложив ей бриллианты и туалеты, но и от них она отказалась. Сначала Дзустиньяни вообразил, что она угадала его тайные намерения, но вскоре ему стало ясно, что в ней говорит лишь гордость простолюдинки: она не хотела наград, еще не заслуженных на сцене его театра. Однако он заставил ее принять платье из белого атласа, под тем предлогом, что неприлично выступать в его салоне в ситцевом платье, и потребовал, чтобы она из уважения к нему рассталась со своей неприхотливой одеждой. Она подчинилась и отдала свою прекрасную фигуру в руки модных портних, которые, конечно, не преминули нажиться на этом и не поскупились на материю. Через два дня она превратилась в нарядную даму, вынужденная принять еще жемчужное ожерелье, которое граф поднес ей как плату за тот вечер, когда она восхитила своим пением era и его друзей. Консуэло все-таки была красива, хотя этот наряд не шел к характеру ее красоты, а нужен был лишь для того, чтобы пленять пошлые взоры. Однако она их не привлекла. С первого взгляда Консуэло никого не поражала и не ослепляла: она была бледна, да и в глазах ее – девушки скромной и всецело погруженной в свои занятия – не было того блеска, который постоянно горит во взгляде женщин, жаждущих одно-

го – блистать. В лице ее, серьезном и задумчивом, сказывалась вся ее натура. Наблюдая ее за столом, когда она болтала о пустяках, вежливо скучая среди пошлости светской жизни, никто даже и не подумал бы, что она красива. Но как только лицо это озарялось веселой, детской улыбкой, указывавшей на душевную чистоту, все тотчас находили ее милой. Когда же она воодушевлялась, бывала чем-нибудь живо заинтересована, растрогана, увлечена, когда проявлялись ее богатые внутренние силы и тайные чувства, она мгновенно преображалась – огонь гениальности и любви загорался в ней, и она приводила в восторг, увлекала, покоряла, совершенно не отдавая себе отчета в тайне своей мощи.

Графа удивляло и странно мучило его чувство к Консуэло. У этого светского человека была артистическая душа, и Консуэло впервые заставила задрожать и запеть ее струны. Но и теперь этот вельможа не понимал, сколь ничтожны и бессильны были его способы завоевать эту женщину, так мало похожую на тех, кого ему удалось развратить.

Он вооружился терпением и решил попытаться пробудить в ней чувство соперничества: он пригласил Консуэло в театр, в свою ложу, надеясь, что успех Кориллы разбудит в ней честолюбие. Но результат получился совсем не тот, какого он ожидал. Консуэло вышла из театра равнодушная, молчаливая, уставшая от грома рукоплесканий, но совсем не захваченная ими. У Кориллы она не нашла подлинного таланта, благородной страсти, величия. Она считала себя достаточно

сведущей, чтобы судить об этом искусственном, сделанном таланте, загубленном в самом начале беспорядочной жизнью и эгоизмом. Равнодушно поаплодировала она примадонне, проронила несколько сдержанных слов одобрения, но не захотела разыгрывать пустой комедии – восторгаться соперницей, не возбудившей в ней ни страха, ни восторга. На минуту графу показалось, что Консуэло в душе завидует если не таланту, то успеху Кориллы.

– Успех этот ничто в сравнении с тем, какой предстоит вам, – сказал он ей. – Он дает лишь слабое представление о победах, которые ожидают вас, если вы покажете себя публике такою, какой показали себя нам. Надеюсь, вы не испуганы тем, что здесь видели?

– Нисколько, синьор граф, – улыбаясь, ответила Консуэло. – Эта публика не страшит меня, я даже и не думаю о ней. Я думаю о том, что можно было бы еще сделать с этой ролью. Корилла исполняет ее блестяще, но, мне кажется, в ней есть и другие, не использованные ею эффекты.

– Как? Вы не думаете о публике?

– Нет, я думаю о партитуре, о замысле композитора, о характере роли, об оркестре, достоинства которого надо использовать, а недостатки скрыть, постаравшись превзойти самое себя в некоторых местах. Я слушаю хор, который не всегда на высоте: он, по-моему, требует более строгого управления; обдумываю, в каких местах надо будет пустить в ход все свои возможности, предусмотрительно приберегая

для этого силы в местах менее трудных. Как видите, господин граф, есть много такого, о чем стоит подумать, помимо публики, которая ничего в этом не понимает и ничему не может меня научить.

Эти здравые взгляды и строгая оценка до того поразили Дзустиньяни, что он не решился расспрашивать далее и со страхом спросил себя, какими средствами может такой поклонник, как он, подчинить себе этот необычный ум.

К дебюту обоих молодых людей готовились по всем правилам, практикующимся в подобных случаях. Между графом и Порпорой, между Консуэло и ее возлюбленным шли бесконечные пререкания и споры. Старый учитель и его даровитая ученица восставали против пышных шарлатанских объявлений, против того бесчисленного множества мелких и пошлых приемов, которые мы в наше время сумели довести до наглости и обмана. В то время в Венеции газеты не играли большой роли в этих делах. Тогда не умели еще так искусно подбирать состав публики, не прибегали к помощи рекламы, к бахвальству выдуманных биографий и к той всесильной машине, что зовется клакой. Тогда были в ходу серьезные происки и страстные интриги, но они происходили в узком кругу, а все решала сама публика, наивно увлекаясь одними артистами, столь же искренно не любя других. И не всегда при этом главную роль играло искусство. Тогда – как и теперь – в храме Мельпомены боролись страсти и страстишки, но прежде не умели скрывать так искусно причины раз-

ногласий и относить их за счет неподкупной любви к искусству. А за всем этим в конечном итоге скрывались все те же мелкие человеческие чувства – только цивилизация еще не прикрывала их затейливой внешней оболочкой.

В такого рода делах Дзустиньяни вел себя скорее, как меценат-вельможа, чем как директор театра. Тщеславие было для него более сильным двигателем, чем жадность у обычных любителей наживы. В своих салонах он подготовлял публику, подогревая успех своих представлений. В его методах не было поэтому ничего подлого или низкого – он вносил в них чисто ребяческое самолюбие, стремление восторжествовать в своих любовных похождениях, умение ловко использовать светскую болтовню. И вот теперь он начал понемногу, довольно-таки искусно, разрушать здание, некогда воздвигнутое его же собственными руками, – здание славы Кориллы. Все видели, что он хочет создать славу новой звезде, и ему приписывалось полное обладание тем предполагаемым чудом, которое он собирался показать. Бедная Консуэло еще и не подозревала о чувствах графа к ней, а вся Венеция уже говорила, будто ему опротивела Корилла и он собирается заместить ее, устроив дебют своей новой любовнице. Многие добавляли: «Какое издевательство над публикой и какой вред для театра! Его фаворитка – какая-то уличная певичка, которая ничего не умеет и обладает лишь красивым голосом да сносной наружностью».

Начались интриги сторонников Кориллы. Разыгрывая

роль соперницы, принесенной в жертву, она подбивала многочисленных своих поклонников и их друзей расправиться с Zingarella (цыганочкой) за ее наглые происки. Начались интриги и в защиту Консуэло. Тут хлопотали женщины, у которых Корилла отбила или совратила мужей и возлюбленных; были здесь и мужья, предпочитавшие, чтобы известная кучка венецианских донжуанов увивалась лучше вокруг новой дебютантки, чем вокруг их собственных жен; наконец, в числе интригующих были обманутые и отвергнутые любовники Кориллы, жаждавшие, чтобы успех ее соперницы отомстил за них.

Истинные dilettantiti musica[17] также разбились на два лагеря. В одном были сторонники таких столпов, как Порпора, Марчелло, Йомелли и другие, предсказывающие, что с появлением на сцене превосходной певицы туда вернутся и добрые старые традиции. В другом были второстепенные композиторы, чьи более легковесные произведения всегда предпочитала Корилла: ее уход грозил их интересам. Вообще весь театр Сан-Самуэле пришел в волнение: музыканты оркестра, боявшиеся, что их засадят за давно забытые партитуры и придется серьезно взяться за работу, весь персонал, предвидевший реформы, всегда связанные с переменами в труппе, даже машинисты сцены, костюмерши, парикмахеры – все всполошились, все были за или против дебюта. По правде говоря, в республике этим дебютом интересовались гораздо

[17] Любители музыки (*итал.*).

больше, чем действиями нового правительства, возглавляемого дожем Пьетро Гримальди, который недавно мирно заступил место своего предшественника, дожа Луиджи Пизани.

Консуэло была в подавленном состоянии духа, ее огорчали и промедление и все эти тревоги, связанные с ее начинающейся карьерой. Она готова была дебютировать без всяких приготовлений, сразу, как только разучит новую оперу. Совершенно не разбираясь в этой массе интриг, она считала их скорее опасными, чем полезными, и была убеждена, что может отлично обойтись без них. Но граф знал глубже тайны театрального дела и, желая, чтобы его воображаемая близость с Консуэло вызывала не насмешки, а зависть, делал все возможное, чтобы завербовать ей как можно больше сторонников. Ежедневно он вызывал ее к себе и представлял всей городской и провинциальной аристократии. Скромность и душевная подавленность Консуэло плохо способствовали его планам, но стоило ей запеть, и она одерживала блестящую, решительную, бесспорную победу.

Андзолетто отнюдь не разделял отвращения своей подруги к разным побочным средствам. Его собственный успех далеко не был так обеспечен. Прежде всего граф относился к нему не с таким интересом; к тому же тот тенор, которого ему предстояло заменить, был первоклассным певцом, и заставить забыть его не так-то легко. Правда, Андзолетто тоже каждый вечер выступал у графа, и Консуэло удивитель-

но искусно умела выдвигать его на первый план в дуэтах; увлеченный и поддерживаемый ее могучим талантом, далеко превосходящим его собственный, Андзолетто часто пел очень хорошо. Ему много аплодировали, поощряли его, но прекрасный голос юноши, возбуждавший восторг в начале его пения, потом проигрывал в сравнении с голосом Консуэло, и не только слушатели находили в нем недостатки, но он и сам с ужасом сознавал их. Тут бы ему с новым жаром приналечь на работу, однако Консуэло никак не могла убедить его заниматься с ней по утрам на Корте-Минелли, где она продолжала жить, несмотря на все уговоры графа, предлагавшего устроить ее более прилично. Андзолетто был до того поглощен разными визитами, хлопотами, интригами, у него было столько мелких забот и тревог, что он не мог найти ни времени, ни желания для работы.

Среди всех этих треволнений Андзолетто пришел к выводу, что наиболее опасным врагом для него является Корилла, и, зная, что граф с ней больше не видится и нисколько ею не интересуется, решил побывать у нее, чтобы склонить на свою сторону. Он слышал, что певица весело и с философской иронией относится к измене графа и к его мести, что она получила блестящее предложение от Итальянской оперы в Париже и ждет только провала своей соперницы, в котором, по-видимому, уверена, а пока хохочет и издевается над несбыточными мечтаниями графа и его приближенных. Андзолетто решил обезоружить этого страшного врага, дей-

ствуя лукаво и с осторожностью; и вот однажды, расфрантившись и надушившись, он отправился к ней после полудня, в тот час, когда в венецианских дворцах царит тишина, все отдыхают и посещения весьма редки.

Глава XVI

Он застал Кориллу одну в ее прелестном будуаре, дремлющей на кушетке в изящнейшем неглиже, как говорили в то время. Однако при дневном свете Андзолетто не мог не заметить, как изменилось ее лицо: не так уж легко, очевидно, относилась она к истории с Консуэло, как это утверждали ее верные поклонники. Тем не менее она встретила его очень весело.

– А, это ты, плутишка? – воскликнула она, шутливо похлопывая его по щеке и делая знак служанке уйти и закрыть дверь. – Опять явился со своими сладкими речами? Не думаешь ли ты разубедить меня в том, что ты самый коварный из всех поклонников и самый пронырливый из всех искателей славы? Вы, мой прекрасный друг, самонадеяннейший из мужчин, если предполагаете, что ваше внезапное исчезновение после столь нежных признаний хоть каплю огорчило меня. И величайший глупец, что заставили себя ждать: через сутки я и думать о вас забыла.

– Сутки? Да это страшно много! – ответил Андзолетто, целуя выше локтя сильную, полную руку Кориллы. – Ах, если б я мог поверить этому, как бы я возгордился! Но я прекрасно знаю: будь я настолько легковерен, чтобы принять за чистую монету то, что вы мне говорили…

– То, что я говорила, советую забыть. Если бы ты пришел

ко мне тогда, я не приняла бы тебя. Но как посмел ты прийти сегодня?

– Разве это дурно – не хотеть пресмыкаться перед людьми, когда они в милости, и прийти к ним с любовью и преданностью, когда они…

– Доканчивай! Когда они в опале? Это очень великодушно и трогательно с твоей стороны, мой прославленный друг! – И Корилла, откинувшись на черную атласную подушку, залилась резким, несколько деланным смехом.

Хотя при ярком полуденном освещении разжалованная примадонна казалась несколько поблекшей, хотя все пережитое за последнее время и оставило след на ее красивом, цветущем лице, все же Андзолетто, которому никогда еще не случалось быть наедине с такой нарядной и блестящей женщиной, почувствовал, что у него что-то зашевелилось в том уголке его души, куда Консуэло не пожелала снизойти и откуда он сознательно изгнал ее светлый образ. Мужчины, развратившиеся слишком рано, могут еще испытывать чувство дружбы к честной, безыскусственной женщине, но разжечь в них страсть способна только кокетка. На издевательства Кориллы Андзолетто отвечал признаниями в любви. Идя к ней, он собирался разыграть роль влюбленного, а тут вдруг на самом деле почувствовал любовь. Я говорю «любовь» за неимением более подходящего термина, хотя употреблять это чудесное слово для обозначения того чувства, которое внушают такие холодные, возбуждающие низ-

менные инстинкты женщины, как Корилла, значит осквернять его. Видя, что молодой тенор не на шутку увлечен, она смягчилась и стала над ним подтрунивать уже более дружелюбно.

– Признаюсь, ты нравился мне целый вечер, – сказала она, – но, в сущности, я тебя не уважаю. Я знаю, что ты тщеславен, а значит, фальшив и способен на любое предательство. На тебя нельзя положиться. Тогда, ночью, в моей гондоле ты разыграл деспота и ревнивца. После пресных ухаживаний наших знатных молодых людей я могла бы рассеять с тобой скуку, но ты ведь обманывал меня, подлый мальчишка: ты был влюблен в другую и сейчас в нее влюблен и женишься… На ком? О, я прекрасно знаю: на моей сопернице, на дебютантке, на новой любовнице Дзустиньяни. Позор нам обоим, всем троим, нет – всем четверым! – невольно разгорячившись, крикнула она, отнимая у Андзолетто руку.

– Жестокая! – вскричал он, силясь снова поймать эту пухлую ручку. – Вам бы следовало понять, что произошло со мной, когда я впервые увидел вас, а не думать о том, что меня интересовало до этой решительной минуты… О том же, что произошло после, вы можете догадаться сами. Да и стоит ли нам думать об этом теперь, когда…

– Я не намерена довольствоваться намеками и недомолвками. Скажи прямо: ты все еще любишь цыганку? Ты женишься на ней?

– Если я ее люблю, то почему же не женился на ней до

сих пор?

– Да потому, может быть, что раньше граф был против. Теперь же все знают, что он сам этого хочет. Говорят даже, что у него есть основание желать, чтобы это произошло поскорее, а у девочки и подавно…

Андзолетто покраснел, услыхав, как оскорбляют ту, которую в глубине души он почитал больше всех на свете.

– Ага! Мои предположения тебя оскорбили! – воскликнула Корилла. – Прекрасно! Это все, что я хотела знать. Ты любишь ее. Когда же свадьба?

– Никакой свадьбы не будет.

– Значит, вы делитесь с графом? Недаром ты в такой милости у него.

– Ради Бога, синьора, не будем говорить ни о графе, ни о ком бы то ни было, кроме нас с вами.

– Согласна! Итак, в этот час мой бывший любовник и твоя будущая супруга…

Андзолетто был возмущен. Он встал с намерением уйти. Но уйдя, он разжег бы еще сильнее ненависть женщины, которую хотел умиротворить. Он стоял в нерешительности, униженный и несчастный, стыдясь своей жалкой роли.

Корилла горела желанием толкнуть его на измену – не потому, что любила, а потому, что видела в этом способ отомстить Консуэло, хотя была не так уж уверена в том, что соперница заслужила все эти оскорбления.

– Вот видишь, – сказала она, пронизывая Андзолетто

взглядом, который словно пригвоздил его к порогу будуара, – я имела основание не верить тебе: сейчас ты обманываешь одну из нас. Кого же – ее или меня?

– Ни ту, ни другую! – крикнул он, стремясь оправдаться в собственных глазах. – Я не любовник ее и никогда им не был. Я даже не влюблен в нее, так как не ревную ее к графу.

– Не лги! Ты ревнуешь так сильно, что не хочешь даже сознаться в этом, а сюда явился, чтобы излечиться или забыться. Благодарю покорно!

– Повторяю, я вовсе не ревную, и, чтобы доказать, что во мне говорит не злоба, я скажу вам, что граф, так же как и я, вовсе не ее любовник, – она чиста, как ребенок; и единственный, кто виноват перед вами, – это граф Дзустиньяни.

– Значит, я могу сделать так, чтобы цыганку освистали, и это нисколько не огорчит тебя? Хорошо! Тебе предстоит сидеть в моей ложе и освистать ее, а потом, после спектакля ты станешь моим единственным любовником! Ну, соглашайся скорее, а то я передумаю.

– Значит, синьора, вы хотите помешать моему дебюту? Вы ведь знаете, что я должен выступить вместе с Консуэло. Если ее освищут, то и я тоже должен буду стать жертвой вашего гнева. Что же сделал я, несчастный, чем заслужил вашу немилость? У меня была мечта – прекрасная, пагубная: целый вечер я воображал, что вы хоть немного сочувствуете мне, что ваше покровительство поможет мне выдвинуться. Но, оказывается, вы презираете, ненавидите меня. А я-то

любил вас, боготворил вас так, что вынужден был бежать… Что ж, если я внушаю вам такое отвращение, губите меня, ломайте всю мою карьеру. Но если сейчас, с глазу на глаз, вы скажете, что я не противен вам, я готов претерпеть при публике ваш гнев.

– Ах ты змея! – воскликнула Корилла. – Где, скажи, всосал ты этот яд лести, которым полны и речи твои и взоры? Дорого бы я дала, чтобы узнать и понять тебя, но меня удерживает страх: кто ты – очаровательнейший любовник или опаснейший враг?

– Я – ваш враг? Да как бы я осмелился быть им, даже не будь я пленен вами? И разве у вас есть враги, божественная Корилла? Могут ли они быть у вас в Венеции, где вас знает каждый, где вы всегда царили безраздельно? Ссора с вами огорчила и раздосадовала графа. Он хочет удалить вас, чтобы перестать мучиться. Случайно на его пути попадается девочка, не лишенная способностей, она мечтает о дебюте. Да разве это такое уж преступление со стороны бедняжки? Ведь она трепещет при одном звуке вашего громкого имени и произносит его не иначе как с почтением. Вы приписываете ей наглые притязания, а она на них совсем не способна. Причины вашего предубеждения мне ясны – с одной стороны, стремление графа показать ее своим друзьям и старания этих услужливых друзей преувеличить ее достоинства, с другой – ваши поклонники. Вместо того чтобы внести в вашу душу покой, убедить, что ваша слава непоколебима, а сопер-

ница трепещет, они, напротив, своей злобной клеветой раздражают и огорчают вас. Все это так удивляет, так поражает меня, что я просто не знаю, как рассеять ваши сомнения.

– Прекрасно знаешь, болтун проклятый! – сказала Корилла, глядя на него нежно и страстно, но не без примеси недоверия. – Я слушаю твои медовые речи, но рассудок велит мне опасаться тебя. Я уверена, что эта Консуэло божественно хороша, хотя меня и стараются убедить в обратном, и что способности – правда, совсем иного склада, чем у меня, – у нее, безусловно, есть, раз сам строгий Порпора во всеуслышание говорит об этом.

– Вы ведь знаете Порпору. И, стало быть, знаете его странности, скажу больше – его мании. Враг всякой оригинальности у других, враг всего нового в искусстве пения, профессор способен за правильно пропетую ученицей гамму объявить ее выше всех звезд, обожаемых публикой; для этого надо только, чтобы ученица внимательно слушала его изречения и педантично выполняла его уроки. С каких пор придаете вы значение причудам этого сумасшедшего старика?

– Так у нее нет таланта?

– У нее красивый голос, и она неплохо поет в церкви, а о театре, по всей вероятности, не имеет ни малейшего представления; что до ее сценических способностей, то, надо полагать, она так растеряется на сцене, что страх убьет и те небольшие данные, которыми ее наградило небо.

– Она растеряется? Что ты! Мне говорили, что она смела

до наглости!

– Бедная девочка! Видно, у нее много врагов! Вы ее услышите, божественная Корилла, вы почувствуете к ней благородное сострадание и тогда, вместо того чтобы устроить ей провал, как только что шутя грозили, сами поддержите ее.

– Или ты лжешь, или мне солгали мои друзья.

– Ваши друзья были сами введены в заблуждение. Усердствуя безрассудно, они испугались, что у вас может появиться соперница. Испугаться за вас! И испугаться кого? Ребенка! Мало же эти люди знают вас, если они сомневаются в ваших силах! Имей я счастье быть вашим другом, я, поверьте, лучше оценил бы вас и не оскорбил бы страхом перед соперницей, даже если б то была сама Фаустина или сама Мольтени!

– Не подумай, что я испугалась ее. Я не завистлива и не зла, а так как чужие успехи никогда мне не вредили, они никогда и не огорчат меня. Но если хотят меня унизить, заставить страдать…

– Не желаете ли вы, чтобы я привел к вам Консуэло? Посмей она только, она бы уже давно сама пришла к вам за советом и помощью. Но эта девочка так застенчива! К тому же и ей оклеветали вас: наговорили, что вы и жестоки, и мстительны, и хотите ее провалить.

– Ах, так ей сказали это? В таком случае мне понятно твое присутствие здесь.

– Нет, синьора, вы, очевидно, не понимаете настоящей его

причины; я ни минуты не верил этой клевете на вас и никогда не поверю. Нет, синьора, нет, вы не понимаете меня!

Черные глаза Андзолетто засверкали, и он опустился на колени у ног Кориллы, изображая на своем лице самую нежную любовь.

Корилла была не лишена и проницательности и хитрости, но, как это случается *с* самовлюбленными женщинами, тщеславие часто ослепляло ее и она нередко попадала в ловушку. К тому же она была женщина страстная, а красивее Андзолетто она не встречала мужчины. Она не смогла устоять перед его медоточивыми речами, а вкусив с ним радость удовлетворенной мести, постепенно привязалась к нему, узнав также и радость обладания. Через неделю после их первого свидания она была от него без ума и своими бурными вспышками ревности и гнева могла в любую минуту выдать тайну их связи. Андзолетто, тоже по-своему влюбленный в нее (правда, сердце его все-таки не могло изменить Консуэло), был сильно напуган этой чересчур быстрой и чересчур полной победой. Однако он надеялся сохранить свое влияние на Кориллу, пока это было ему необходимо, то есть помешать ей испортить его дебют и повредить успеху Консуэло. Он держал себя с нею необычайно ловко, лгал с чисто дьявольским искусством и сумел привязать ее к себе, убедить, обуздать. Ему удалось уверить ее, что он больше всего ценит в женщине великодушие, кротость и правдивость. Искусно набросал он роль, которую она, если только не хочет

заслужить с его стороны презрение и ненависть, должна играть по отношению к Консуэло при публике. Будучи нежен с нею, он в то же время умел быть строгим и, маскируя угрозы лестью, делал вид, будто считает ее ангелом доброты. Бедная Корилла переиграла в своем будуаре всевозможные роли, кроме этой, надо сказать, не удавшейся ей и на сцене. Тем не менее она покорилась, боясь утратить наслаждения, которыми еще не насытилась и на которые Андзолетто, чтобы сделать их более желанными, был не слишком щедр. Юноше удалось убедить Кориллу, будто граф, несмотря на свою досаду, все еще влюблен в нее и только рисуется, говоря, что разлюбил ее, а сам втайне ревнует.

– Узнай он только о том счастье, которое я переживаю с тобой, – говорил он ей, – конец всему: и дебюту и, пожалуй, самой моей карьере. С того дня, как ты имела неосторожность открыть ему мою любовь к тебе, он сильно ко мне охладел, и я думаю, что он будет вечно преследовать меня своей ненавистью, если узнает, что я утешил тебя.

При создавшихся обстоятельствах это было малоправдоподобно: граф был бы в восторге, если бы узнал, что Андзолетто изменяет своей невесте. Однако тщеславной Корилле хотелось верить обману, и она поверила. Поверила и тому, что ей нечего бояться любви Андзолетто к Консуэло. Когда он всячески отрицал это и клялся всеми святыми, что был для бедной девушки только братом, его уверения звучали крайне убедительно, – тем более что по сути дела это

было правдой – и ему удалось усыпить ревность Кориллы. Великий день близился, а ее интриги против Консуэло прекратились; она даже начала действовать в противоположном направлении, уверенная, что застенчивая и неопытная дебютантка провалится и без ее стараний, а Андзолетто будет ей бесконечно благодарен за то, что она в этом не принимала участия. Помимо того, Андзолетто сумел ловко рассорить свою возлюбленную с ее вернейшими приверженцами, разыграв ревнивца и настояв на том, чтобы она их выпроводила, притом довольно резко.

Разрушая таким образом втихомолку планы женщины, которую он каждую ночь прижимал к своему сердцу, хитрый венецианец в то же время играл совсем другую роль перед графом и Консуэло. Он хвастался им, что своими ловкими приемами, посещениями и дерзкой ложью сумел обезоружить грозного врага, способного помешать их успеху. Легкомысленный граф, охотник до всяких интриг, забавлялся болтовней своего питомца. Самолюбию его особенно льстили уверения Андзолетто, будто Корилла опечалена разрывом с ним, и он с легкомысленной жестокостью, обычной в театральном мире и мире любовных похождений, подбивал юношу на разные подлые проделки. Все это удивляло и огорчало Консуэло.

– Было бы гораздо лучше, – говорила она своему жениху, – если б ты работал над своим голосом и изучал роль. Ты воображаешь, что много сделал, обезоружив врага. Поверь

мне, отделанная нота, прочувствованная интонация гораздо важнее для беспристрастной публики, чем молчание завистников. Вот с этой-то публикой и надо считаться, и мне грустно видеть, что о ней ты нисколько не думаешь.

– Не беспокойся, дорогая Консуэло, – отвечал Андзолетто. – Ты заблуждаешься, считая, что публика может быть одновременно и беспристрастной и просвещенной. Люди понимающие очень редко бывают добросовестны, а добросовестные так мало смыслят, что малейшее проявление смелости ослепляет и увлекает их.

Глава XVII

Ревность Андзолетто к графу несколько поутихла: его отвлекали и жажда успеха и пылкость Кориллы. К счастью, Консуэло не нуждалась в высоконравственном и бдительном защитнике. Охраняемая собственной невинностью, девушка ускользала от дерзкого натиска Дзустиньяни и держала его на расстоянии уже потому, что очень мало о нем думала. Недели через две распутный венецианец убедился, что в ней еще не пробудились суетные страсти, ведущие к разврату, и он всячески старался пробудить их. Но так как пока что это удавалось ему не более, чем в первый день, то он не решался слишком усердствовать, боясь все испортить. Если б Андзолетто раздражал его своим надзором, то, быть может, он с досады и поспешил бы довести дело до конца, но Андзолетто предоставлял ему полную свободу действий, Консуэло ничего не подозревала, и графу оставалось лишь стараться быть любезным, ожидая, пока он сделается необходимым. Итак, он изощрялся в нежной предупредительности, утонченном ухаживании, стараясь понравиться, а Консуэло принимала это поклонение, упорно объясняя его свободой нравов, царящей в аристократической среде, страстным тяготением своего покровителя к музыке и его природной добротой. Она чувствовала к нему истинную дружбу, глубокую благодарность; он же, испытывая от близости этой чистой,

преданной души и счастье, и тревогу, уже побаивался того чувства, которое могло вызвать в ней его решительное признание.

В то время как он со страхом, но и не без удовольствия переживал это новое для него чувство (несколько утешаясь тем заблуждением, в котором пребывала насчет его победы вся Венеция), Корилла тоже ощущала в себе какой-то переворот. Она любила если не благородной, то пылкой любовью, – ее властная и раздражительная натура склонилась под игом юного Адониса, – подобно сладострастной Венере, влюбившейся в красавца-охотника и впервые смирившейся и оробевшей перед избранным ею смертным. Она покорилась настолько, что пыталась даже казаться добродетельной, – качество, которым вовсе не обладала, – и ощущала при этом некое сладостное и нежное умиление: ибо ни для кого не секрет, что обожествление другого существа возвышает и облагораживает души, наименее склонные к величию и самоотверженности.

Испытанное потрясение отразилось и на ее даровании: в театре заметили, что она играет патетические роли естественнее и с большим чувством. Но так как ее характер и самая сущность ее натуры были, если можно так выразиться, надломлены и для того, чтобы вызвать такое превращение, потребовался внутренний кризис, бурный и мучительный, она в этой борьбе ослабела физически, и окружающие замечали с изумлением – одни со злорадством, другие с испу-

гом, – что с каждым днем она теряет свои природные данные. Голос то и дело изменял ей. Короткое дыхание и неуверенность интонации вредили блестящей фантазии ее импровизаций. Недовольство собою и страх окончательно подорвали ее силы, и на спектакле, предшествовавшем дебюту Консуэло, она пела так фальшиво, испортила столько блестящих мест, что ее друзья, зааплодировавшие было ей, принуждены были умолкнуть, услышав ропот недовольства вокруг.

Наконец, великий день настал. Зала была так переполнена, что нечем было дышать. Корилла, вся в черном, бледная, взволнованная, еле живая, сидела в своей маленькой темной ложе, выходившей на сцену; она трепетала вдвойне, боясь провала своего возлюбленного и ужасаясь при мысли о торжестве соперницы. Вся аристократия и все красавицы Венеции, блистая драгоценностями и цветами, заполняли сияющий огнями трехъярусный полукруг. Франты толпились за кулисами и, по обычаю того времени, занимали часть сцены. Догаресса, в сопровождении всех важнейших сановников республики, появилась в своей ложе у авансцены. Оркестром должен был дирижировать сам Порпора, а граф Дзустиньяни ожидал Консуэло у двери ее уборной, пока она одевалась, меж тем как Андзолетто, облекшись в костюм античного воина, правда, с причудливым налетом современности, едва не лишаясь сознания от страха, старался подбодрить себя за кулисами кипрским вином.

Опера, которую ставили, была написана не классиком, не

новатором, не строгим композитором старого времени и не смелым современником. Это было неизвестное творение какого-то иностранца. Порпора, во избежание интриг, которые, несомненно, возникли бы среди композиторов-соперников, исполняй он свое собственное произведение или творение другого известного композитора, предложил, – думая прежде всего об успехе своей ученицы, – а потом и разучил партитуру «Гипермнестры». Это было первое лирическое произведение некоего молодого немца, у которого не только в Италии, но и нигде в мире не было ни врагов, ни приверженцев и которого попросту звали господином Христофором Глюком.

Когда на сцене появился Андзолетто, восторженный шепот пронесся по зале. Тенор, которого он заменил, прекрасный певец, сделал ошибку: он пережил себя, уйдя со сцены, когда у него уже не было ни голоса, ни красоты. Вот почему неблагодарная публика мало сожалела о нем, и прекрасный пол, слушающий больше глазами, чем ушами, был очарован, когда на сцене вместо угреватого толстяка появился двадцатичетырехлетний юноша, свежий, как роза, белокурый, как Феб, сложенный, как статуя Фидия, настоящий сын лагун: bianco, crespo e grassotto[18].

Он был слишком взволнован, чтобы хорошо спеть свою первую арию, но для того, чтобы увлечь женщин и театральных завсегдатаев, достаточно было его отличного голо-

---

[18] Белокурый, курчавый и плотный (*итал.*).

са, красивых поз и нескольких удачных новых пассажей. У дебютанта были великолепные данные, перед ним открывалась блестящая будущность. Трижды грохотал гром аплодисментов, дважды вызывали молодого тенора из-за кулис, по итальянскому и особенно по венецианскому обычаю.

Успех вернул Андзолетто смелость, и когда он снова появился вместе с Гипермнестрой, страха в нем как не бывало. Но в этой сцене всеобщим вниманием завладела Консуэло: все видели и слышали только ее.

– Вот она!.. – раздавалось со всех сторон.

– Кто? Испанка?

– Да, дебютантка! Любовница Дзустиньяни.

Консуэло вышла с серьезным, холодным видом и обвела глазами публику; поклоном, в котором не было ни излишнего смирения, ни кокетства, она ответила на залп рукоплесканий своих покровителей и начала речитатив таким уверенным голосом, с такой величественной полнотой звука, с таким торжествующим спокойствием, что после первой же фразы театр задрожал от восторженных криков.

– Ах коварный! Он насмеялся надо мной! – вскричала Корилла, метнув ужасный взгляд на Андзолетто, который, не удержавшись, взглянул на нее с плохо скрываемой усмешкой, и бросилась в глубину своей ложи, заливаясь слезами.

Консуэло пропела еще несколько фраз. В эту минуту послышался надтреснутый голос старика Лотти:

– Amici miei, questo e un portento![19]

Когда она исполняла выходную арию, ее десять раз прерывали, кричали бис, семь раз вызывали на сцену, в театре стоял восторженный гул. Словом, неистовство венецианских музыкантов-любителей проявилось со всем его пленительным и в то же время комическим жаром.

– Чего они так кричат? – спрашивала Консуэло, вернувшись за кулисы, откуда ее не переставали вызывать. – Можно подумать, что они собираются побить меня камнями!

С этой минуты Андзолетто, безусловно, отошел на второй план. Его принимали хорошо, но только потому, что все были довольны. Снисходительная холодность к его промахам и не слишком восторженное отношение к удачам говорили о том, что если женщинам – этому экспансивному, шумному большинству – и нравилась его наружность, то мужчины были о нем невысокого мнения и все свое восхищение приберегали для примадонны. Ни один из тех, кто явился в театр с враждебными намерениями, не решился выразить хоть малейшее неодобрение, и, сказать правду, не нашлось и трех человек, которые устояли бы против стихийного увлечения и непреодолимой потребности рукоплескать новоявленному чуду.

Опера имела большой успех, хотя, в сущности, самой музыкой никто не интересовался. Это была чисто итальянская музыка, грациозная, умеренно патетическая, но, как гово-

---

[19] Друзья мои, это чудо (*итал.*).

рят, в ней еще нельзя было предугадать автора «Альцесты» и «Орфея». В ней было мало мест, которые бы поражали слушателей своей красотой. В первом же антракте немецкий композитор был вызван вместе с тенором, примадонной и даже Клориндой. Клоринда, принятая благодаря протекции Консуэло, прогнусавила глухим голосом и с вульгарным акцентом свою второстепенную роль, обезоружив всех красотою плеч: Розальба, которую она заменяла, была чрезвычайно худа!

В последнем антракте Андзолетто, все время украдкой следивший за Кориллой, заметил, что та все более и более выходит из себя, и счел благоразумным зайти к ней в ложу, дабы предупредить могущую произойти вспышку. Увидав юношу, Корилла, как тигрица, набросилась на него и отхлестала по щекам, исцарапав при этом до крови, так что потом ни белила, ни румяна не могли скрыть следов. Оскорбленный тенор укротил пыл любовницы, ударив ее кулаком в грудь с такою силой, что она, едва не лишившись чувств, упала на руки своей сестры Розальбы.

– Подлец! Изменник! Разбойник! – задыхаясь, бормотала она. – И ты, и твоя Консуэло, вы оба погибнете от моей руки!

– Несчастная, посмей только сделать сегодня хоть шаг, хоть жест, посмей только выкинуть какую-нибудь штуку – и я заколю тебя на глазах у всей Венеции! – прошипел сквозь стиснутые зубы бледный Андзолетто, вытащив нож, с которым он никогда не расставался и которым владел с искус-

ством истинного сына лагун.

– Он сделает то, что говорит, – с ужасом прошептала Розальба. – Молю тебя, скорей идем отсюда: здесь нам грозит смерть!

– Да, да, совершенно верно, и помните это, – ответил Андзолетто, с шумом захлопывая за собой дверь ложи и запирая ее на ключ.

Хотя эта трагикомическая сцена и проведена была чисто по-венециански – таинственным шепотом и молниеносно, – все же, когда дебютант быстро прошел из-за кулис в свою уборную, закрывая щеку носовым платком, все догадались, что произошла маленькая стычка. А парикмахер, призванный привести в порядок растрепанные кудри греческого принца и замаскировать полученную им царапину, сейчас же раззвонил среди хористов и статистов о том, что щека героя пострадала от коготков одной влюбленной кошечки. Парикмахер этот знал толк в такого рода ранах и не раз бывал поверенным в подобных закулисных происшествиях. История эта в мгновение ока обежала всю сцену, каким-то образом перескочила через рампу и пошла гулять из оркестра на балкон, с балкона в ложи и оттуда, уже с разными прикрасами, проникла в глубину партера. Связь Андзолетто с Кориллой была еще неизвестна, но некоторые видели, как он увивался вокруг Клоринды, и вот разнесся слух, что последняя в припадке ревности к примадонне выколола глаз и выбила три зуба красивейшему из теноров.

Это повергло в отчаяние многих (главным образом представительниц прекрасного пола), но для большинства явилось просто очаровательным скандальчиком. Зрители спрашивали друг друга, не будет ли приостановлено представление и не появится ли прежний тенор Отефанини доигрывать роль с тетрадкой в руках. Но вот занавес поднялся. И когда появилась Консуэло, такая же спокойная и величественная, как вначале, все было забыто. Хотя роль ее сама по себе не была особенно трагической, Консуэло силой своей игры, выразительностью пения сделала ее такою. Она заставила проливать слезы, и когда появился тенор, его царапина вызвала только улыбки. Однако из-за этого смехотворного эпизода успех Андзолетто был менее блестящ, чем мог бы быть, и все лавры в этот вечер достались Консуэло. В конце ее опять вызывали и проводили горячими аплодисментами.

После спектакля все отправились ужинать во дворец Дзустиньяни, и Андзолетто совсем забыл о запертой в ложе Корилле, которой пришлось взломать дверь, чтобы выйти оттуда. В суматохе, обыкновенно царящей в театре после шумного спектакля, этого никто не заметил. Но на следующий день кто-то сопоставил сломанную дверь с полученной тенором царапиной, и это навело людей на мысль о любовной интриге, которую Андзолетто так тщательно скрывал до сих пор.

Едва лишь занял он место за большим столом, вокруг которого граф, устроивший роскошный банкет в честь Консуэло, усадил своих гостей, едва известные венецианские по-

эты начали приветствовать певицу мадригалами и сонетами, сочиненными в ее честь еще накануне, как лакей тихонько сунул под его тарелку записочку от Кориллы. Он прочитал украдкой:

«Если ты не придешь ко мне сию же минуту, я явлюсь за тобой сама и закачу тебе скандал, где бы ты ни был – хоть на краю света, хоть в объятиях трижды проклятой Консуэло!».

Под предлогом внезапного приступа кашля Андзолетто вышел из-за стола, чтобы написать ей ответ. Оторвав кусочек линованной бумаги из нотной тетрадки, лежавшей в передней, он нацарапал карандашом:

«Если хочешь, приходи: мой нож всегда наготове, так же как моя ненависть и презрение к тебе».

Деспот знал, что для женщины, обладающей таким характером, страх был единственной уздой, угроза – единственным средством укротить ее. Однако он невольно помрачнел и за ужином был рассеян. А как только встали из-за стола, сбежал и помчался к Корилле.

Он застал несчастную женщину в состоянии, достойном жалости. За истерикой последовали потоки слез; она сидела у окна растрепанная, с распухшими от слез глазами. Платье, которое она в отчаянии разорвала на себе, висело клочьями на груди, вздрагивавшей от рыданий. Она отослала сестру, служанку, и проблеск невольной радости озарил ее лицо, когда она увидела того, кого уже не думала больше увидеть. Но Андзолетто знал ее слишком хорошо, чтобы начать утешать.

Будучи уверен, что при первом же проявлении сострадания или раскаяния в ней проснутся гнев и жажда мести, он решил держаться уже взятой на себя роли – быть неумолимым и, хотя в глубине души был тронут отчаянием Кориллы, стал осыпать ее самыми жестокими упреками, а затем объявил, что пришел проститься навсегда. Он довел ее до того, что она бросилась перед ним на колени и в полном отчаянии доползла до самых дверей, моля о прощении. Только совсем сломив и уничтожив ее, он сделал вид, будто смягчился. Глядя на высокомерную красавицу, которая валялась в пыли у его ног, словно кающаяся Магдалина, упоенный гордостью и каким-то смутным волнением, он уступил ее исступленной страсти, и она снова познала его ласки. Но и наслаждаясь с этой укрощенной львицей, Андзолетто ни на миг не забывал, что она дикий зверь, и до конца выдержал роль оскорбленного повелителя, который снизошел до прощения.

Уже начинало светать, когда эта женщина, опьяненная и униженная, спрятав бледное лицо в длинных черных волосах, облокотясь мраморной рукой на влажный от утренней росы балкон, стала тихим, ласкающим голосом жаловаться на пытки, причиняемые ей любовью.

– Ну да, я ревнива, – говорила она, – и, если хочешь, хуже того – завистлива. Не могу видеть, как моя десятилетняя слава в одно мгновение превзойдена новой восходящей звездой, как жестокая, забывчивая толпа приносит меня в жертву без пощады и без сожалений. Когда ты узнаешь восторг успеха

и горечь падения, поверь, ты не будешь так строг и требователен к себе, как сейчас ко мне. Ты говоришь, что я еще полна сил, что успех, богатство, заманчивые надежды – все это ждет меня в новых странах, что я покорю там новых любовников, пленю новый народ. Пусть даже это так, но неужели, по-твоему, найдется на свете хоть что-нибудь, что могло бы утешить меня в том, что я покинута всеми друзьями, сброшена с трона, куда еще при мне возведен другой кумир? И этот позор – первый в жизни, единственный за всю мою карьеру – обрушился на меня в твоем присутствии! Скажу более: этот позор – дело твоих рук, рук моего любовника, первого человека, которого я полюбила, потеряв власть над собой, потеряв волю. Ты говоришь еще, что я фальшива и зла, что я разыграла перед тобой лицемерное благородство и лживое великодушие, но ведь ты сам этого хотел, Андзолетто. Я была оскорблена – ты потребовал, чтобы я делала вид, будто я спокойна, и я притворялась спокойной. Я была недоверчива – ты потребовал, чтобы я верила в твою искренность, и я поверила. У меня в душе кипели злоба и отчаяние – ты мне говорил: смейся, и я смеялась. Я была взбешена – ты мне велел молчать, и я молчала. Что же я могла сделать еще? Ведь я играла роль, мне несвойственную, и приписывала себе мужество, которого во мне нет. А теперь, когда это напускное мужество покидает меня, когда эта пытка делается невыносимой и я близка к сумасшествию, ты, который должен был бы пожалеть меня, ты топчешь меня нога-

ми и собираешься оставить умирать в том болоте, куда сам же меня завел. Ах, Андзолетто! У тебя каменное сердце, и для тебя я стою не больше, чем морской песок, который приносит и уносит набегающая волна. Брани, бей меня, оскорбляй, раз такова потребность твоей сильной натуры, но все же в глубине души пожалей меня! Подумай, как должна быть беспредельна моя любовь к тебе, если, будучи такой скверной, какой ты меня считаешь, я ради этой любви не только переношу все муки, а готова страдать еще и еще…

– Но послушай, друг мой, – продолжала она, обнимая его еще нежнее, – все, что ты заставил меня выстрадать, ничто по сравнению с тем, что я чувствую, когда думаю о твоей будущности и о твоем счастье. Ты погиб, Андзолетто, дорогой мой Андзолетто! Погиб безвозвратно! Ты не знаешь, не подозреваешь этого! А я – я это вижу и говорю тебе: «Пусть я была бы принесена в жертву его тщеславию, пусть мое падение послужило бы его торжеству, но нет – все это только на его погибель, и я – орудие соперницы, наступившей ногой на головы нам обоим».

– Что хочешь ты этим сказать, безумная? – вскричал Андзолетто. – Я не понимаю тебя.

– А между тем ты бы должен был понять меня, понять хотя бы то, что произошло сегодня. Разве ты не заметил, как публика, несмотря на весь восторг, вызванный твоей первой арией, охладела к тебе после того, как спела она? И – увы! – она всегда будет петь так: лучше меня, лучше всех и, сказать

правду, лучше тебя, мой дорогой Андзолетто… Значит, ты не видишь, что эта женщина раздавит тебя и, пожалуй, уже раздавила при первом же своем появлении? Не видишь, что ее некрасивость затмила твою красоту? Да, она некрасива, я признаю это, но я знаю также, что такие женщины, понравившись, способны вызвать более сильные ощущения, чем совершеннейшие красавицы мира… Разве ты не видишь, что ей поклоняются, ее обожают и что всюду, где ты будешь появляться вместе с ней, ты останешься в тени, будешь незаметен? Разве ты не знаешь, что талант артиста нуждается для своего развития в похвалах и успехе точно так же, как новорожденный младенец нуждается в воздухе, чтобы расти и жить? Что всякое соперничество сокращает сценическую жизнь артиста, а опасный соперник рядом с ним – это смерть для нашей души, это пустота вокруг нас? Ты должен видеть все это на моем печальном примере: одного страха перед неизвестной мне соперницей, страха, который ты хотел во мне вытравить, было достаточно, чтобы я целый месяц чувствовала себя парализованной. И чем ближе был день ее торжества, тем слабее делался мой голос, тем заметнее убывали мои силы. А ведь я почти не допускала возможности ее торжества! Что же будет теперь, когда я собственными глазами видела это торжество – несомненное, поразительное, неоспоримое? Знаешь, я уже не могу появиться на сцене в Венеции, а пожалуй, даже и нигде в Италии: я пала духом. Чувствую, что буду дрожать, что мне не удастся издать ни

одного звука… И куда уйти от воспоминаний о пережитом? И есть ли место, откуда мне не придется бежать от моей торжествующей соперницы? Да, я погибла, но и ты тоже погиб, Андзолетто! Ты умер, не успев насладиться жизнью. И будь я так зла, как ты уверяешь, я бы ликовала, толкала бы тебя к гибели и была б отомщена, а я с отчаянием говорю тебе: если ты еще хоть раз появишься с нею, для тебя в Венеции нет будущности! Если ты будешь сопутствовать ей в поездках, всюду позор и унижение пойдут за тобой по пятам. Если будешь жить на ее средства, делить с нею роскошь, прятаться за ее имя, тебе придется влачить самое жалкое, самое тусклое существование. Хочешь знать, как к тебе будет относиться публика? Люди будут спрашивать: «Скажите, кто этот красивый молодой человек, которого всегда можно видеть рядом с ней?». И им ответят: «Да никто, даже меньше, чем никто, – это или муж, или любовник божественной певицы».

Андзолетто стал мрачен, как грозовые тучи, собиравшиеся в это время на востоке.

– Ты сошла с ума, милая Корилла! – ответил он. – Консуэло вовсе не так страшна для тебя, как это рисует тебе сейчас больное воображение. Что до меня, то, повторяю, я не любовник ее и, безусловно, никогда не буду ее мужем. Так же, как никогда не буду жить в тени ее широких крыльев, точно жалкий птенец. Предоставь ей парить! В небесах довольно воздуха и пространства для всех, кого могучая сила подни-

мает высоко над землей. Взгляни на этого воробья – не так ли он привольно летает над каналом, как чайка над морем? Ну, довольно этих бредней! Дневной свет гонит меня из твоих объятий. До завтра! И если хочешь, чтобы я вернулся к тебе, будь по-прежнему кротка и терпелива. Ты пленила меня именно кротостью и терпением. Поверь, это гораздо больше идет твоей красоте, чем крики и бешенство ревности!

Все-таки Андзолетто вернулся к себе в мрачном расположении духа. И только в постели, почти засыпая, он задал себе вопрос: кто мог проводить Консуэло домой из графского дворца? Это всегда было его обязанностью, и он ее никогда никому не уступал.

– В конце концов, – сказал он себе, кулаком взбивая подушку, чтобы устроиться поудобнее, – если графу суждено добиться своего, так, пожалуй, для меня же лучше, чтобы это случилось поскорее.

Глава XVIII

Когда Андзолетто проснулся, он почувствовал, что проснулась также и его ревность к графу Дзустиньяни. Тысячи противоречивых чувств бушевали в его душе, и прежде всего новое чувство – зависть к таланту и успеху Консуэло, которую накануне пробудила в нем Корилла. Зависть эта возрастала в нем по мере того, как он снова и снова сравнивал торжество своей невесты с собственным, как казалось его оскорбленному самолюбию, провалом. Затем его стала мучить мысль, что, быть может, не только в глазах общества, но и на самом деле он уже оттеснен от этой женщины, ставшей сразу и знаменитой и всемогущей, женщины, чьей единственной великой любовью он был еще вчера. Зависть и ревность боролись в нем, и он не знал, какому из этих чувств отдаться, чтобы заглушить другое. Ему представлялись два исхода: либо увезти Консуэло из Венеции, тем самым разлучив ее с графом, и отправиться вместе с ней искать счастья в другом месте, либо, уступив ее сопернику, самому бежать как можно дальше и добиваться одному успеха, который она уже не сможет затмить. Все более и более мучаясь этой нерешительностью, Андзолетто, вместо того чтобы найти успокоение у своей истинной подруги, ринулся опять в омут, отправившись к Корилле. Та подлила масла в огонь, доказывая даже энергичнее, чем накануне, всю невыгодность его поло-

жения.

– Нет пророка в своем отечестве, – говорила она, – и тебе не следует жить в городе, где ты родился, где тебя видели оборвышем, бегавшим по площадям, где всякий может сказать (ведь знатные люди страх как любят хвастаться благодеяниями, подчас даже воображаемыми, которые они оказывают артистам): «Я ему покровительствовал; я первый заметил в нем талант; это я порекомендовал его такому-то; это я предпочел его тому-то». Слишком долго жил ты здесь на улице, мой бедный Андзолетто, и потому, раньше чем узнать о твоем таланте, все уже заметили твое красивое лицо. Не так-то легко привести в восторг людей, у которых ты за гроши греб на гондолах, распевая отрывки из Тассо, или бегал по поручениям, чтобы заработать себе на ужин. Консуэло невзрачна, она домоседка и представляется здесь чужеземной диковинкой. К тому же она испанка, и у нее не венецианский выговор. Ее красивое, хотя несколько странное произношение понравилось бы всем, даже будь оно отвратительно, потому что оно ново для слуха. Три четверти небольшого успеха в первом акте тебе дала твоя красота, а в последнем акте к ней уже пригляделись.

– Прибавь к этому, что та ссадина под глазом, которой ты меня наградил, – зачем только я простил тебе ее? – немало уменьшила и это последнее, ничтожное преимущество.

– Быть может, оно и ничтожно в глазах мужчин, но очень велико в глазах женщин. Благодаря женщинам ты будешь ца-

рить в салонах; без помощи мужчин ты провалишься на сцене. Но как же можешь ты захватить, увлечь мужчин, когда твоим соперником является женщина – женщина, которая не только покоряет серьезных любителей пения, но опьяняет своей грацией, своей женственностью даже тех, кто ничего не понимает в музыке! О, сколько таланта и умения нужно было Стефанини, Саверио и всем мужчинам, которые появлялись со мною на сцене и хотели со мной бороться!

– В таком случае, дорогая Корилла, мне столь же рискованно появляться на сцене вместе с тобой, как и с Консуэло. И если бы я надумал отправиться вслед за тобой во Францию, твои слова послужили бы мне хорошим предостережением.

Эта фраза, вырвавшаяся у Андзолетто, была для Кориллы лучом света. Она поняла, что добилась большего, чем ожидала, так как мысль покинуть Венецию уже, очевидно, созревала в уме ее возлюбленного. Как только у нее блеснула надежда увезти его с собой, она пошла на все, чтобы соблазнить его этим планом. Она умалила, насколько могла, свои достоинства, с безграничной скромностью уверяя, что она гораздо ниже своей соперницы, что она вообще не настолько большая артистка, не настолько красивая женщина, чтобы воспламенять публику. А так как это было, в сущности, более верно, чем она думала, то ей и нетрудно было убедить в этом Андзолетто: он ведь никогда не заблуждался на ее счет и всегда считал Консуэло неизмеримо выше ее. Итак, в это

свидание их совместная работа и побег были почти решены, и Андзолетто стал серьезно думать об этом, хотя на всякий случай и оставлял себе лазейку для отступления.

Видя, что у Андзолетто еще остаются какие-то сомнения, Корилла начала убеждать его продолжать дебюты, предсказывая, что в этих новых выступлениях он добьется большего успеха. В душе она была убеждена в обратном и рассчитывала, что неудачи окончательно отвратят его и от Венеции и от Консуэло…

Выйдя от любовницы, Андзолетто направился к своей подруге; он не мог противостоять желанию ее увидеть. Впервые он начал и закончил день без ее чистого поцелуя. Но после того, что произошло у него с Кориллой, ему было стыдно видеть свою невесту, и он старался себя уверить, будто идет к ней лишь затем, чтобы убедиться в ее измене, увериться, что она его разлюбила. «Вне всякого сомнения, – говорил он себе, – граф воспользовался удобным случаем, а тут еще досада самой Консуэло, вызванная моим исчезновением! Просто невероятно, чтобы такой развратник, как он, проведя с бедняжкой ночь наедине, не соблазнил ее». Однако при одной мысли об этом на лбу у него выступал холодный пот, сердце разрывалось, и он ускорял шаг, не сомневаясь в том, что Консуэло, должно быть, в отчаянии, мучится угрызениями совести, рыдает… Но тут некий внутренний голос, заглушая все остальные, подсказывал ему, что такое чистое, благородное существо не может пасть столь внезапно, столь позорно,

и, замедляя шаг, он думал о себе самом, о гнусности своего поведения, о своем эгоизме, тщеславии, лживости, о всем дурном, чем полны были его жизнь и совесть.

Когда он пришел, Консуэло в своем черном платьице сидела за столом такая же, как всегда: в ее взгляде, во всем ее существе сияло спокойствие, целомудрие. С обычной радостью она кинулась ему навстречу и стала расспрашивать с тревогой, но без малейшего упрека или недоверия, как он провел время без нее.

– Мне нездоровилось, – ответил Андзолетто, подавленный сознанием своего глубокого падения. – Помнишь, я ударился головой о декорацию – я еще показывал тебе след? Тогда я сказал тебе, что это пустяки, но потом у меня так разболелась голова, мне пришлось уйти из дворца Дзустиньяни – я боялся упасть там в обморок – и все утро пролежать в постели.

– Ах Боже мой! – воскликнула Консуэло, целуя ссадину, оставленную ее соперницей. – Тебе было больно? Больно и теперь?

– Нет, сейчас мне гораздо лучше. Забудь об этом. Лучше скажи мне, как ты одна вернулась домой ночью?

– Одна? О нет, граф проводил меня до дому в своей гондоле.

– Так я и знал! – воскликнул Андзолетто каким-то странным голосом. – И, конечно… оставшись с тобой наедине, чего только он не наговорил тебе… каких только любезностей

не напел!

– А что бы он мог сказать мне такого, чего не говорил уже сто раз при всех? Граф, правда, балует меня и, пожалуй, мог бы развить во мне тщеславие, если бы я не остерегалась этого порока… К тому же мы не были с ним наедине: мой добрый учитель тоже захотел проводить меня. О, это чудесный друг!

– Какой учитель? Какой чудесный друг? – переспросил рассеянно Андзолетто, уже успокоившись и думая о другом.

– Как какой? Да Порпора, конечно! О чем это ты вдруг задумался?

– Я думаю о твоем вчерашнем триумфе. Конечно, и ты думаешь о нем?

– Клянусь тебе, меньше, чем о твоем!

– О моем! Не издевайся надо мной, милая Консуэло! Мой успех был так жалок, что больше походил на провал.

Консуэло даже побледнела от изумления. При всей своей удивительной выдержке она была недостаточно хладнокровна, чтобы оценить разницу между аплодисментами, выпавшими на ее долю и на долю того, кого она любила. При подобного рода овациях самый опытный артист может впасть в заблуждение и принять поддержку со стороны клакеров за шумный успех. Консуэло, чуть ли не испугавшись этого страшного шума, не могла в нем разобраться и не заметила предпочтения, оказанного ей по сравнению с Андзолетто. В простоте душевной она пожурила его за чрезмерную требовательность к судьбе, но, видя, что ей не удается ни убедить

его, ни разогнать его тоску, стала кротко упрекать его за то, что он слишком любит славу и слишком большое значение придает благосклонности толпы.

– Я всегда говорила, – сказала она, – что плоды искусства куда дороже тебе, чем само искусство. А вот мне кажется, раз сделал все, что мог, и сознаешь, что это сделано хорошо, то немножко больше, немножко меньше похвал ничего не прибавляют к чувству внутреннего удовлетворения. Помнишь, что мне сказал Порпора, когда я в первый раз пела во дворце Дзустиньяни: «Тот, кто истинно любит искусство, ничего не боится».

– Ты и твой Порпора можете питаться этими прекрасными изречениями, – прервал ее Андзолетто с досадой. – Нет ничего легче, как философствовать по поводу горестей жизни, зная только ее радости. Порпора, хотя беден и имеет врагов, все-таки знаменит. Он достаточно за свою жизнь сорвал лавров, чтобы теперь его кудри спокойно седели под их сенью. А ты, чувствуя свою непобедимость, не знаешь, что такое страх. Сразу, одним прыжком взобравшись на верхнюю ступеньку лестницы, ты упрекаешь человека, который не так крепко, как ты, стоит на ногах, в том, что у него кружится голова. Это не великодушно, Консуэло, и крайне несправедливо. А потом твой довод неприменим ко мне: ты говоришь, что надо презирать одобрение публики, если доволен сам. Ну, а если во мне нет внутреннего сознания, что я пел хорошо? Разве ты не видишь, что я страшно недоволен собой?

Разве ты сама не заметила, что я был отвратителен? Разве ты не слыхала, как скверно я пел?

– Нет, потому что это не так. Ты был ни лучше, ни хуже, чем всегда. Волнение почти не отразилось на твоем голосе; впрочем, оно ведь скоро и рассеялось. И то, что ты хорошо знал, вышло у тебя хорошо.

– А то, чего я не знал? – спросил Андзолетто, устремив на нее свои большие черные глаза, под которыми от усталости и огорчения появились черные круги.

Консуэло вздохнула и, помолчав немного, проговорила, целуя его:

– А то, чего ты не знаешь, надо выучить. Если б только ты захотел серьезно позаниматься на репетициях… Ведь, помнишь, я тебе говорила… Но к чему упреки – надо поскорее исправить, что можно. Давай заниматься хоть по два часа в день, и ты увидишь, как быстро мы с тобой преодолеем все трудности.

– Разве этого можно достичь в один день?

– Конечно, нет, но не больше, чем в несколько месяцев.

– А ведь я пою завтра и снова выступаю перед публикой, которая больше судит обо мне по моим недостаткам, чем по достоинствам.

– Но эта же публика заметит и твои успехи.

– Кто знает! А что, если она относится ко мне враждебно?

– Она уже доказала тебе обратное.

– Да! Так ты находишь, что она была ко мне снисходи-

тельна?

– Да, мой друг, нахожу: в тех местах, где ты был слаб, публика все-таки отнеслась к тебе доброжелательно, а когда ты оказывался на высоте – она воздавала тебе должное.

– Но в ожидании лучшего со мной заключат самый жалкий ангажемент.

– Граф – воплощенная щедрость, он не скупится на деньги. К тому же он предлагает мне столько, что мы оба сможем жить более чем роскошно.

– Прекрасно! Значит, я, по-твоему, буду жить твоими триумфами?

– А разве я мало жила на твои средства?

– Тут дело даже не в деньгах. Пусть он платит немного – это мне безразлично, но вдруг он пригласит меня на вторые или на третьи роли?

– У него нет никого под рукой на первые; он давно уже рассчитывает на тебя и имеет в виду только тебя. К тому же он очень к тебе расположен. Ты думал, что он будет против нашего брака? Наоборот, он, по-видимому, даже желает этого и часто меня спрашивает, когда, наконец, я приглашу его на свадьбу!

– Вот как! Превосходно! Чрезвычайно благодарен вам, любезный граф!

– Что ты хочешь этим сказать?

– Ничего. Только очень жаль, Консуэло, что ты не удержала меня от дебюта, пока мои недостатки, которые так хо-

рошо тебе известны, не были исправлены с помощью серьезной работы. Ведь, повторяю, ты отлично знала об этих недостатках.

– А разве я не была откровенна? Сколько раз я предупреждала тебя! Но ты всегда повторял, что публика ровно ничего не смыслит. И, узнав о твоем блестящем успехе, после того как ты в первый раз пел в салоне графа, я подумала, что…

– Что светские люди понимают в этом не более простых смертных?

– Я подумала, что на твои достоинства обратят больше внимания, чем на твои слабые стороны. Да, кажется, так оно и было и в том и в другом случае.

«В сущности, она права, – подумал Андзолетто. – И если бы только я мог отложить свои дебюты… Но я рискую быть замененным другим тенором, а тот, уж конечно, не уступит мне потом своего места».

– Ну-ка, скажи, какие у меня недостатки, – попросил он Консуэло, пройдясь несколько раз по комнате.

– Те, о которых я не раз тебе говорила: слишком много смелости и мало подготовки – подъем скорее лихорадочный, чем прочувствованный, в драматических местах больше надуманности, чем душевного трепета. Ты недостаточно ясно представил себе роль в целом. Разучив ее отрывками, ты увидел в ней только ряд более или менее блестящих мест. Ты не уловил ни постепенного ее развития, ни общего вывода. Думая только о том, как блеснуть своим прекрасным голо-

сом и некоторым умением, ты показал всего себя сразу, при первом же выходе. При малейшей возможности ты гнался за эффектами, и все твои эффекты были одинаковы. Уже в конце первого акта публика знала тебя наизусть, но, не подозревая, что это все, ждала от тебя в финале еще чего-то необыкновенного, а этого в тебе как раз и не оказалось. Приподнятость исчезла, и голос ослабел. Ты почувствовал это сам и изо всех сил стал форсировать и то и другое. Этот маневр публика поняла, и вот почему, к великому твоему удивлению, она оставалась холодна в тех местах, когда тебе казалось, что ты наиболее патетичен… В эту минуту она видела в тебе не артиста, увлеченного страстью, а только актера, жаждущего успеха.

– А как же, скажи, делают другие? – топнув ногой, воскликнул Андзолетто. – Разве я не слышал всех, кому последние десять лет аплодировала Венеция? Разве старик Стефанини не кричал, когда бывал не в голосе? И это не мешало публике неистово ему аплодировать.

– Это правда. Но я не думаю, чтобы здесь со стороны публики было непонимание. Вероятно, она помнила старые его заслуги и не хотела дать ему почувствовать его закат.

– Ну, а Корилла, этот свергнутый тобою кумир, разве она не форсировала своего голоса, разве не делала усилий, которые так мучительно было наблюдать? Разве, когда ее превозносили до небес, она и в самом деле была захвачена страстью?

– Вот именно потому, что я находила все ее приемы фальшивыми, эффекты – отвратительными, а пение и игру – лишенными вкуса и благородства, я, как и ты, была убеждена в том, что публика понимает не слишком много, и вышла на сцену так спокойно.

– Ах, Консуэло, дорогая, как ты растравляешь мою рану, – тяжко вздыхая, проговорил Андзолетто.

– Чем, мой любимый?

– И ты еще спрашиваешь! Мы ошибались с тобой, Консуэло. Публика все понимает. То, что заслоняет от нее невежество, ей подсказывает сердце. Публика – это большой ребенок, она хочет, чтобы ее развлекали и умиляли. Она довольствуется тем, что ей дают, но стоит показать ей лучшее, как она сейчас же начинает сравнивать и понимать. Корилла фальшивила, у нее не хватало дыхания, но еще неделю назад она могла пленять. Явилась ты, и Корилла погибла. Она уничтожена, погребена. Выступи она теперь – ее освищут. Если бы я выступил раньше вместе с ней, успех мой был бы так же головокружителен, как тогда, когда я в первый раз пел после нее у графа. Но рядом с тобой я померк. Так должно было быть, и так будет всегда. Публике нравилась мишура, она фальшивые камни принимала за драгоценные и была ими ослеплена. Но вот ей показали бриллиант, и она уже сама не понимает, как могла поддаваться столь грубому обману. Она больше не может терпеть фальшивые бриллианты и отбрасывает их. В этом-то, Консуэло, и состоит мое несчастье: я –

венецианское стеклышко – выступил вместе с жемчужиной со дна морского…

Консуэло не поняла, сколько правды и горечи было в словах ее жениха. Она приписала их его любви, и на всю эту, как ей казалось, милую лесть ответила улыбками и поцелуями. Она уверила Андзолетто, что он перещеголяет ее, если только захочет постараться, и возродила в нем мужество, доказывая, что петь, как она, совсем легко. Она говорила это искренне, так как для нее не существовало трудностей и она не подозревала, что работа для тех, кто ее не любит и у кого нет усидчивости, является главным и непреодолимым препятствием.

Глава XIX

Поощряемый чистосердечием Консуэло и коварными советами Кориллы, настаивавшей на его вторичном выступлении, Андзолетто с жаром принялся за работу и на втором представлении «Гипермнестры» спел первый акт гораздо лучше. Публика оценила это. Но так как пропорционально возрос и успех Консуэло, он, видя это подтверждение ее превосходства, остался недоволен собой и снова пал духом. С этой минуты все стало представляться ему в мрачном свете. Андзолетто казалось, что его совсем не слушают, что сидящие вблизи зрители шепотом судачат на его счет, что даже его доброжелатели, подбадривая его за кулисами, делают это только из жалости. Во всех их похвалах он искал какой-то иной, скрытый, неприятный для себя смысл. Корилла, к которой он в антракте зашел в ложу, чтобы узнать ее мнение, с притворным беспокойством спросила, не болен ли он.

– Откуда ты это взяла? – раздраженно спросил он.

– Потому что голос твой нынче звучит как-то глухо и вид у тебя подавленный. Андзолетто, дорогой, приободрись, напряги свои силы – они парализованы страхом или унынием.

– Разве я плохо спел свою выходную арию?

– Гораздо хуже, чем на первом представлении! У меня так сжималось сердце, что я боялась упасть в обморок.

– Однако мне аплодировали!

– Увы!.. Впрочем, я напрасно разочаровываю тебя. Продолжай, только старайся, чтобы голос звучал чище…

«Консуэло, – думал он, – конечно, хотела дать мне хороший совет. Сама она в своих поступках руководствуется инстинктом, и это ее вывозит. Но откуда у нее может быть опыт, как может она научить меня победить эту строптивую публику? Следуя ее советам, я скрываю блестящие стороны своего таланта, а того, что я улучшил манеру пения, никто и не заметил. Буду дерзок по-прежнему. Разве я не видел во время моего дебюта в доме графа, что могу покорить даже тех, кого не могу убедить? Ведь признал же во мне старик Порпора талант – правда, находя на нем пятна! Так пусть же публика преклонится пред моим талантом и терпит мои недостатки».

Во втором акте он лез из кожи вон, выкидывая невероятные штуки, и его слушали с удивлением. Некоторые стали аплодировать, но их заставили умолкнуть. Большая часть публики недоумевала, спрашивая себя, был ли тенор божествен или отвратителен.

Еще немного дерзости – и, пожалуй, Андзолетто мог бы еще выйти победителем, но эта неудача так смутила его, что он совсем растерялся и позорно провалил конец партии.

На третьем спектакле он приободрился и решил действовать по-своему, не следуя советам Консуэло: он пустил в ход самые своеобразные приемы, самые смелые музыкальные фокусы. И вдруг – о, позор! – среди гробового молчания, которым были встречены эти отчаянные попытки, послыша-

лись свистки. Добрая, великодушная публика своими аплодисментами заставила свистки умолкнуть, но трудно было не понять, что означала эта благосклонность к человеку и это порицание артисту. Вернувшись в уборную, Андзолетто в бешенстве сорвал с себя костюм и разодрал его в клочья. Как только кончился спектакль, он убежал к Корилле и заперся с ней. Страшная ярость бушевала в нем, и он решил бежать со своей любовницей хоть на край света.

Три дня он не виделся с Консуэло. Не то чтобы он возненавидел ее или охладел к ней: в глубине своей истерзанной души он так же нежно ее любил и смертельно страдал, не видя ее, но она внушала ему какой-то ужас. Он чувствовал над собой власть этого существа, которое своей гениальностью уничтожало его перед публикой, но вместе с тем внушало ему безграничное доверие и могло делать с ним все что угодно. Полный смятения, он не в состоянии был скрыть от Кориллы, насколько он привязан к своей благородной невесте и как велико ее влияние на него до сих пор. Кориллу это глубоко огорчило, но она нашла в себе силы не выдать себя. Разыграв сочувствие, она вызвала Андзолетто на откровенность и, узнав о его ревности к графу, решилась на отчаянный шаг – тихонько довела до сведения Дзустиньяни о своей связи с Андзолетто. Она рассчитывала, что граф не упустит случая сообщить об этом предмету своей страсти и, таким образом, для Андзолетто будет отрезана всякая возможность возвращения к невесте.

Просидев целый день одна в своей мансарде, Консуэло сначала удивилась, а потом начала беспокоиться. Когда же и весь следующий день прошел в тщетном ожидании и смертельной тревоге, она, лишь только стало темнеть, накинула на голову плотную шаль (знаменитая певица не была гарантирована от сплетен) и побежала в дом, где жил Андзолетто. Уже несколько недель, как граф предоставил ему в одном из своих многочисленных домов более приличное помещение. Она его не застала и узнала, что он редко ночует дома.

Однако это не навело Консуэло на мысль об измене. Хорошо зная страсть своего жениха к поэтическому бродяжничеству, она решила, что он, не сумев привыкнуть к новому роскошному помещению, вероятно, ночует в одном из своих прежних пристанищ. Она уже решилась было отправиться на дальнейшие поиски, как у двери на улицу столкнулась лицом к лицу с Порпорой.

– Консуэло, – тихо проговорил старик, – напрасно ты закрываешь от меня лицо: я слышал твой голос и, конечно, не мог не узнать его. Бедняжка, что ты тут делаешь так поздно и кого ты ищешь в этом доме?

– Я ищу своего жениха, – ответила Консуэло, беря под руку старого учителя, – и мне нечего краснеть, признаваясь в этом моему лучшему другу. Знаю, что вы не сочувствуете моей любви к нему, но я не в силах вам лгать. Я беспокоюсь: я не видела Андзолетто после спектакля уже целых два дня. Боюсь, не заболел ли он.

– Заболел? Он? – переспросил профессор, пожимая плечами. – Пойдем со мною, бедное дитя, нам надо поговорить. Раз ты наконец решила быть со мной откровенной, я также буду откровенен с тобой. Обопрись на мою руку и поговорим дорогой. Выслушай меня, Консуэло, и хорошенько вникни в то, что я тебе скажу. Ты не можешь, ты не должна быть женою этого юноши. Запрещаю тебе это именем всемогущего Бога, который вложил в мое сердце отеческое чувство к тебе.

– О мой учитель, лучше попросите, чтобы я пожертвовала жизнью, чем этой любовью! – печально ответила она.

– Я не прошу, а требую! – решительно сказал Порпора. – Твой возлюбленный проклят. Если ты сейчас же не откажешься от него, он будет для тебя источником мук и позора.

– Дорогой учитель, – проговорила она с грустной, кроткой улыбкой, – вы ведь не раз уже говорили мне это, и я тщетно пыталась последовать вашему совету. Вы ненавидите бедного мальчика. Но вы его не знаете, и я убеждена, что когда-нибудь вы откажетесь от своего предубеждения против него.

– Консуэло, – начал профессор еще более решительным тоном, – я знаю, что до сих пор мои доводы были слабы, а возражения, быть может, и неубедительны. Я говорил с тобой как артист с артисткой и в женихе твоем видел тоже только артиста. Сейчас же я говорю с тобой как мужчина с женщиной и говорю о мужчине. Ты, женщина, любишь недостойного мужчину, и я убежден в том, что говорю.

– Боже мой! Андзолетто недостоин моей любви! Он! Мой

единственный друг, мой покровитель, мой брат! Ах, вы не знаете, сколько он мне помогал, как бережно относился ко мне с самого детства! Позвольте вам все, все рассказать. – И она поведала ему историю своей жизни и своей любви, что, в сущности, было одно и то же.

Порпора был тронут, но оставался непоколебим.

– Во всем этом, – проговорил он, – я вижу только твою невинность, твою верность, твою добродетель. Что же касается Андзолетто, то я понимаю, что ему необходимо было твое общество, твои уроки; ведь, что ты там ни говори, а тем немногим, что он знает и чего стоит, он обязан именно тебе. Это так же верно, как и то, что твой целомудренный, непорочный возлюбленный близок со всеми падшими женщинами Венеции, что он утоляет зажигаемую тобой страсть в вертепах разврата и, удовлетворив ее там, является к тебе лишь для того, чтобы извлечь пользу из твоих знаний.

– Будьте осторожны в своих словах, – задыхаясь, проговорила Консуэло. – Я привыкла вам верить, как Богу, дорогой учитель, но я не хочу вас слушать, не хочу верить тому, что вы говорите о моем Андзолетто… Пустите! – прибавила она, пытаясь высвободить свою руку из-под руки профессора. – Вы просто убиваете меня!

– Нет! Я хочу убить твою пагубную любовь, а тебя вернуть к жизни, открыв тебе правду! – ответил старик, прижимая руку девушки к своему возмущенному великодушному сердцу. – Я знаю, что я жесток, Консуэло, но я не умею быть

иным. Я колебался, я медлил с этим ударом, пока было возможно. Я все надеялся, что глаза твои откроются и ты сама увидишь, что делается вокруг тебя. Но жизнь не научила тебя ничему, и ты, как слепая, готова броситься в пропасть. Я не допущу этого – я удержу тебя на краю пропасти. В последние десять лет ты была единственным существом, которое я любил и ценил. Ты не должна погибнуть! Нет, нет, не должна!

– Но, друг мой, мне не грозит никакая опасность! Неужели вы не верите мне, когда я клянусь вам всем святым, что не нарушила обещания, данного мною матери перед ее смертью? Андзолетто тоже сдержал эту клятву. И если я еще не жена его, то, значит, и не любовница.

– Но стоит ему сказать слово, и ты будешь и тем и другим!

– Да ведь моя мать сама взяла с нас такое обещание!

– А между тем сейчас, ночью, ты шла к человеку, который не хочет и не может быть твоим мужем…

– Кто вам это сказал?

– Да разве Корилла ему позволит?..

– Корилла? Но что общего между ним и Кориллой?

– Мы в двух шагах от дома этой девки… Ты ищешь своего жениха… Так пойдем за ним туда. Что? Хватит ли у тебя мужества на это?

– Нет, нет! Тысячу раз нет! – воскликнула Консуэло, еле держась на ногах и прислоняясь к стене. – Не отнимайте у меня жизни, дорогой учитель, ведь я еще совсем не жила!

Поймите, ведь вы убиваете меня!

– Ты должна испить эту чашу, – продолжал неумолимый старик. – Мне здесь принадлежит роль судьи. Своей кротостью и снисходительностью я порождал только неблагодарных, а следовательно, и жалких людей. Теперь я вижу: тем, кого я люблю, я должен говорить чистую правду. Это единственная польза, которую может еще принести мое сердце, иссохшее от горя и окаменевшее от страданий. Жаль мне, мое бедное дитя, что в столь злополучный для тебя час нет подле тебя более мягкого, более нежного друга. Но я таков, каким меня сделала жизнь, я должен влиять на других, и, если я не могу отогреть их солнечным теплом, я должен показывать им правду при блеске молнии. Итак, Консуэло, между нами нет места слабости! Идем в этот дворец! Я хочу, чтобы ты застала Андзолетто в объятиях развратной Кориллы. Если ты не в состоянии идти – я потащу тебя, если упадешь – понесу на руках. Когда в сердце старого Порпоры пылает огонь божественного гнева, силы у него найдутся!

– Пощадите, пощадите! – вскричала бледная как полотно Консуэло. – Оставьте мне хоть сомнение… Позвольте еще день… один только день… верить в него. Я не готова к этой пытке…

– Нет! Ни одного дня, ни одного часа! – отрезал старик непреклонным тоном. – Упустив этот час, я, быть может, уже не смогу воочию показать тебе истину, а тем днем, который ты вымаливаешь у меня, воспользуется этот негодяй, чтобы

опять ослепить тебя ложью. Нет, ты пойдешь со мной! Я хочу этого, я приказываю!

– Хорошо! Я пойду! – проговорила Консуэло, которой любовь вдруг придала силы. – Но пойду только для того, чтобы доказать вашу несправедливость и верность моего жениха. Вы постыдно заблуждаетесь и хотите, чтоб и я заблуждалась вместе с вами! Идемте же, палач, идемте, я не боюсь вас!

Боясь, как бы девушка не раздумала, Порпора схватил ее за руку своей жилистой, крепкой, как железные клещи, рукой и потащил в дом, где жил сам. Здесь, проведя ее по бесконечным коридорам и заставив подняться по бесконечным лестницам, он привел ее на верхнюю террасу. Отсюда, поверх крыши более низкого и совершенно необитаемого дома, был виден дворец Кориллы. Он был темен сверху донизу, светилось лишь одно окно, выходившее на мрачный, безмолвный фасад необитаемого дома. Казалось, что это окно недосягаемо для чьих бы то ни было взоров, ибо выступ балкона мешал видеть снизу. На одном с ним уровне не было ничего, выше же – лишь крыша дома, где жил Порпора, но и с нее невозможно было заглянуть во дворец певицы. Однако Корилла не знала, что на углу этой крыши имелся бортик, образовывавший род ниши под открытым небом. И сюда профессор по какому-то свойственному артистам капризу убегал каждый вечер от себе подобных, чтобы, спрятавшись за широкой печной трубой, любоваться звездами и обдумывать свои музыкальные творения на духовные или же пред-

назначенные для сцены сюжеты. Таким образом, случай открыл профессору тайну связи Андзолетто и Кориллы, а Консуэло тоже достаточно было взглянуть по направлению, указанному Порпорой, чтобы увидеть своего возлюбленного в объятиях соперницы. Она тотчас отвернулась. Порпора, боясь, как бы этот удар не заставил ее потерять сознание, подхватил ее и – откуда только взялись силы! – почти снес в нижний этаж, к себе в кабинет, где поспешил закрыть дверь и окно, чтобы сохранить в тайне взрыв отчаяния, которого он ожидал.

Глава XX

Но никакого взрыва не произошло. Консуэло сидела безмолвная и убитая. Порпора заговорил было с ней, но она сделала знак, чтобы он ни о чем ее не спрашивал. Вдруг она поднялась, подошла к клавесину, на котором стоял графин с холодной водой, и залпом, стакан за стаканом, опорожнила его. Затем, пройдясь несколько раз по комнате, не проронив ни слова, снова села напротив учителя.

Суровый старик не понял всей глубины ее страдания.

– Ну что? – сказал он. – Обманул я тебя? Что ты думаешь делать теперь?

Мучительная дрожь пробежала по ее словно окаменевшему телу, и, проведя рукой по лбу, она проговорила:

– Думаю ничего не делать, пока не пойму того, что случилось.

– А что тебе надо еще понять?

– Все, так как я ровно ничего не понимаю. Я силюсь найти причину своего несчастья – и не нахожу. Что дурного сделала я Андзолетто, чтобы он мог разлюбить меня? Какой совершила проступок, чтобы он мог меня презирать? Вы-то, конечно, не можете ответить мне, раз я сама, роясь в глубине своей совести, не в состоянии отыскать ключ к этой тайне. О, тут есть какая-то непостижимая тайна! Мать моя верила в силу любовных зелий… Уж не чародейка ли эта Корилла?

– Бедная девочка! – сказал профессор. – Правда, здесь дело не обошлось без чар, но имя им – Тщеславие. Действует тут и яд, и зовется он Завистью. Корилла могла влить в него этот яд, но не она создала его душу, способную впитывать его. Яд уже был в порочной крови Андзолетто. Лишняя капля его превратила плута в предателя, неблагодарного, каким он всегда был, – в клятвопреступника.

– Какое же тщеславие? Какая зависть?

– Тщеславие его в том, чтобы всех превзойти, превзойти и тебя, а бешеная зависть – к тебе, затмившей его.

– Да может ли это быть? Неужели может мужчина завидовать преимуществам женщины? Неужели может возлюбленный относиться со злобой к успеху любимой? Значит, есть много такого, чего я не знаю и что не в состоянии понять.

– Ты никогда этого не поймешь, но на каждом шагу будешь встречаться с этим в жизни. Ты узнаешь, что мужчина может завидовать таланту женщины, если он тщеславный артист, узнаешь, что возлюбленный может со злобой относиться к успехам любимой женщины, если сфера их деятельности – театр. Ведь актер, Консуэло, не мужчина, он женщина. Он живет своим болезненным тщеславием, думает лишь об удовлетворении этого тщеславия, выступает, чтобы опьяниться тщеславием… Красота женщины вредит ему, ее талант затмевает, умаляет его собственный. Женщина – его соперник, или, вернее, он – соперник женщины; в нем вся мелочность, все капризы, вся требовательность, все смешные

стороны кокетки. Таков характер большинства мужчин, подвизающихся на сцене. Бывают, конечно, великие исключения, но они так редки, так ценны, что пред ними надо преклоняться, им следует оказывать больше уважения, чем самым известным ученым. Но Андзолетто не исключение. Из всех тщеславных он наитщеславнейший: вот в чем секрет его поступков.

– Но какая непонятная месть! Какой жалкий, бессмысленный способ отмщения! – проговорила Консуэло. – Как может Корилла утешить его в том, что публика в нем разочаровалась? Если б только он откровенно признался мне в своих мучениях… Ведь стоило ему сказать одно слово, и я, быть может, поняла бы его, во всяком случае – отнеслась бы к нему с сочувствием: стушевалась бы, лишь бы уступить ему место.

– Завистливым душам свойственно ненавидеть людей за то, что те якобы отнимают у них счастье. А в любви не то же ли самое? Разве наслаждения, доставляемые любимому существу другими, не кажутся отвратительными? Твоему возлюбленному внушает омерзение публика, венчающая тебя лаврами, тогда как тебе внушает ненависть соперница, опьяняющая его наслаждением. Разве не так?

– Вы высказали глубокую мысль, дорогой учитель, и я должна в нее вникнуть.

– Это истина! Андзолетто ненавидит тебя за твой успех на сцене, а ты ненавидишь его за те наслаждения, которые ему

дарит в своем будуаре Корилла.

– Нет, я не в состоянии ненавидеть его, и вы помогли мне понять, что было бы низко и постыдно ненавидеть мою соперницу. Значит, весь вопрос в том наслаждении, которым она его опьяняет и о котором я не могу думать без ужаса. Но почему же? Не знаю. Ведь если это преступление безотчетно, Андзолетто тоже не так уж виновен, относясь с ненавистью к моему успеху.

– Ты готова все истолковать так, чтобы найти оправдание его поведению и чувствам… Нет, Андзолетто не так невинен и не так достоин уважения в своем страдании, как ты. Он обманывает, унижает тебя, тогда как ты стремишься его оправдать. Впрочем, я вовсе не хотел пробуждать в тебе ненависть, а только спокойствие и безразличие. Поступки этого человека проистекают из его характера. Ты его никогда не переделаешь. Примирись с этим и думай о себе.

– О себе? То есть о себе одной? О себе, без надежды, без любви?

– Думай о музыке, о божественном искусстве! Неужели, Консуэло, ты посмеешь сказать, что любишь искусство только ради Андзолетто?

– Я любила искусство и ради самого искусства. Но я никогда не разделяла в мыслях эти две неразделимые вещи: свою жизнь и жизнь Андзолетто. И когда эта неотъемлемая половина моей жизни будет от меня отнята, я не представляю себе, как я смогу любить еще что-либо.

– Андзолетто был для тебя только идеей, которой ты жила; ты заменишь ее другой – более возвышенной, более чистой, более живительной. Твоя душа, твой талант, все твое существо не будет более во власти непрочного, обманчивого образа, ты постигнешь высокий идеал, свободный от земной оболочки, мысленно вознесешься на небо и соединишься священными брачными узами с самим Богом!

– Вы хотите сказать, что я сделаюсь монахиней, как вы мне когда-то советовали?

– Нет, это значило бы ограничить твое артистическое дарование одним жанром музыки, а ты должна охватить все. Чему бы ты себя ни посвятила, где бы ты ни была, на сцене или в монастыре, везде ты сможешь быть святой, небесной девой, невестой священного идеала!

– То, что вы говорите, так возвышенно, так полно таинственных образов. Позвольте мне уйти, дорогой учитель. Я должна сосредоточиться и понять себя.

– Совершенно верно, Консуэло, ты должна понять себя. До сих пор ты не знала себя, отдавая всю свою душу, всю свою будущность существу, которое стоит ниже тебя во всех отношениях. Ты не понимала своего назначения, не видела, что тебе нет равных и что, следовательно, у тебя не может быть спутника в этом мире. Тебе нужно одиночество, нужна полная свобода. Я не желаю тебе ни мужа, ни любовника, ни семьи, ни страсти, ни каких бы то ни было уз. Вот как я всегда представлял себе твое будущее, вот как я понимал твой

жизненный путь. В тот день, когда ты отдашься смертному, ты утратишь свою божественность. Ах, если бы Минготти и Мольтени, мои знаменитые ученицы, мои великие создания, послушались меня, они не имели бы соперниц на земле! Но женщина слаба и любопытна: тщеславие ослепляет ее, суетные желания волнуют, причуды увлекают… Спрашивается, что дало им удовлетворение этих порывов? Душевные бури, усталость, потерю или ослабление их таланта! Разве ты не захочешь превзойти их, Консуэло? Разве у тебя нет стремления, парящего выше суетных благ земных? Разве ты не согласишься заглушить в себе голос сердца, чтобы стяжать прекраснейший венец, каким когда-либо был увенчан гений?

Долго еще говорил Порпора с выразительностью и красноречием, которых мне не передать. Консуэло слушала его, опустив голову и устремив глаза в землю. Когда, высказав все, он умолк, она проговорила:

– Учитель, вы великий человек, но я слишком ничтожна, чтобы понять вас. Мне кажется, что вы оскорбляете человеческую природу, осуждая самые благородные ее страсти. Мне кажется, что вы хотите подавить инстинкты, вложенные в нас самим Богом, и как бы обожествляете чудовищный, противоестественный эгоизм. Быть может, я поняла бы вас лучше, будь я более доброй христианкой. Постараюсь ею сделаться – вот все, что я могу вам обещать.

Она поднялась, чтобы уйти, спокойная на вид, но с истерзанной душой. Порпора, этот великий композитор и непре-

клонно суровый человек, пошел проводить ее до дому. Дорогой он продолжал наставлять ее, но убедить так и не смог. Все же после разговора с ним ей стало немного легче, ибо он открыл ей широкое поле для глубоких и серьезных размышлений. На фоне их преступление Андзолетто тускнело, как частность, послужившая болезненным, но значительным началом бесконечных дум. Много часов провела она в молитве, слезах и размышлениях. И наконец, заснула с сознанием чистой совести и с надеждой на милосердие и помощь Бога.

На следующий день Порпора зашел к ней сказать, что назначена репетиция «Гипермнестры» для Стефанини, который должен петь вместо Андзолетто, ибо Андзолетто заболел – не встает с постели и жалуется на потерю голоса. Первым побуждением Консуэло было бежать к нему, чтобы за ним ухаживать.

– Избавь себя от этого труда, – остановил ее профессор, – Андзолетто чувствует себя прекрасно – таково мнение театрального врача. Вот увидишь, вечером он отправится к Корилле. Но граф Дзустиньяни, который отлично понимает, что все это значит, и не будет особенно горевать, если молодой тенор прекратит свои дебюты, запретил доктору выводить его на чистую воду и попросил добряка Стефанини ненадолго вернуться на сцену.

– Боже мой! Что же задумал Андзолетто? Неужели он так пал духом, что собирается бросить сцену?

– Да, сцену театра Сан-Самуэле. Через месяц он едет с

Кориллой во Францию. Тебя это удивляет? Он бежит от тени, которую на него бросает твой успех, отдает свою судьбу в руки женщины менее опасной, а потом, конечно, бросит ее, как только перестанет в ней нуждаться.

Консуэло побледнела и прижала руки к сердцу, готовому разорваться. Быть может, в ней жила еще надежда вернуть Андзолетто, быть может, она собиралась, кротко пожурив его, сказать ему, что лучше сама уйдет со сцены. Весть эта была для нее как удар кинжала. Мысль, что она больше не увидит того, кого любила так сильно, не укладывалась в ее голове.

– Это какой-то дурной сон! – вскричала она. – Мне надо пойти к нему, пусть он объяснит мне, что значит весь этот бред. Он не может уехать с этой женщиной, – это было бы для него гибелью. Я не могу этого допустить! Я удержу его, объясню, в чем его истинные интересы, если правда, что никакие другие доводы уже не действуют на него… Пойдемте со мной, дорогой учитель! Нельзя же бросить его так.

– Я сам брошу тебя, и брошу навсегда, – закричал в негодовании Порпора, – если ты допустишь подобное малодушие! Умолять этого негодяя! Отвоевывать его у какой-то Кориллы! О святая Цецилия, берегись своего цыганского происхождения и старайся побороть в себе безрассудные бродяжнические инстинкты! Идем, тебя ждут на репетиции. А сегодня вечером ты насладишься пением с таким мастером, как Стефанини. Ты увидишь артиста просвещенного, скром-

ного и великодушного.

Порпора потащил ее в театр, и здесь, впервые Консуэло поняла весь ужас жизни артиста – эту зависимость от публики, вечную необходимость заглушать собственные чувства, подавлять собственные волнения для того, чтобы постоянно изображать чужие чувства и заставлять волноваться других. Эта репетиция, затем переодевание и сам спектакль были для нее настоящей пыткой. Андзолетто не появлялся. Через день ей пришлось выступить в комической опере Галуппи «Arcifanfano, re dematti»[20]. Вещь эту ставили ради Стефанини, который превосходно исполнял в ней комическую роль. Консуэло вынуждена была смешить тех, у кого раньше вызывала слезы. Затаив в груди смертельную тоску, она все-таки умудрилась быть блестящей, обворожительной и даже забавной. Два-три раза рыдания начинали душить ее, но они изливались в какой-то неестественной веселости, которая испугала бы тех, кто мог бы понять ее причину. Когда она вернулась в свою уборную, с ней случилась истерика. Публика громко требовала ее, желая устроить овацию. Так как она все не выходила, поднялся страшный гам, зрители порывались ломать скамейки, перелезать через рампу… Стефанини пришел за ней и, полуодетую, растрепанную, бледную как смерть, потащил на сцену, где ее буквально засыпали цветами. Кто-то бросил к ее ногам лавровый венок, и она вынуждена была нагнуться, чтобы его поднять.

---

[20] «Арчифанфано, король сумасшедших» (*итал.*).

– Дикие звери! – шептала она, возвращаясь за кулисы.

– Красавица моя, – сказал ей старый певец, поддерживая ее под руку, – ты совсем больна. Но вот эти пустяки, – прибавил он, передавая ей целый сноп подобранных для нее цветов, – чудодейственное средство от всех недугов. Подожди, свыкнешься, и придет время, когда ты будешь чувствовать нездоровье и усталость только в те дни, когда тебя забудут увенчать лаврами.

«До чего они пусты и ничтожны!» – подумала бедная Консуэло.

Вернувшись в свою уборную, она упала без чувств на ложе из цветов, подобранных на сцене и как попало брошенных на софу. Камеристка побежала за доктором. Граф Дзустиньяни на несколько минут остался наедине с прекрасной певицей, бледной и надломленной, как ветки жасмина, в которых она утопала. Взволнованный, опьяненный страстью, Дзустиньяни совсем потерял голову и в безумном порыве бросился к ней, надеясь своими ласками привести ее в чувство. Но первое же прикосновение его губ к чистым губам Консуэло пробудило в ней отвращение. Она пришла в себя и оттолкнула его, словно змею.

– Прочь! – крикнула она, точно в бреду. – Прочь любовь, ласки, сладкие речи!.. Никогда не будет у меня ни любви, ни мужа, ни семьи, ни любовника. Учитель мой прав: свобода, одиночество, высокий идеал, слава!..

И тут она разразилась такими раздирающими сердце ры-

даниями, что перепуганный граф бросился на колени и стал ее успокаивать. Но он не мог найти слов утешения для этой истерзанной души, а его бушующая страсть, которая в эту минуту дошла до предела, невольно рвалась наружу. Ему слишком понятно было отчаяние обманутой любви. Он стал говорить ей о своих чувствах с воодушевлением человека, не потерявшего еще надежды на взаимность. Консуэло как будто слушала его и, машинально отнимая у него свою руку, улыбнулась ему растерянной улыбкой, в которой графу почудилось слабое поощрение. Некоторые мужчины проявляют безукоризненный такт и большую проницательность в светских отношениях, но ничего не смыслят в отношениях иного рода. Явился доктор и прописал входившие тогда в моду успокоительные капли. Затем Консуэло закутали в плащ и отнесли в гондолу. Граф тоже вошел туда вместе с певицей, поддерживая ее и продолжая нашептывать ей слова любви, казавшиеся ему такими красноречивыми и убедительными, что он не переставал надеяться на успех. Спустя четверть часа, не слыша отклика, граф стал молить Консуэло сказать ему хоть одно слово, подарить хоть один взгляд.

– Что же мне сказать? – проговорила она, как бы очнувшись от сна. – Я не слышала вас.

Дзустиньяни был обескуражен, но решил, что более удобного случая, пожалуй, никогда не представится и что сейчас эта надломленная душа более доступна, чем будет потом, когда девушка вооружится рассудком. Он снова загово-

рил о своей любви, и снова ответом было то же молчание, та же растерянность. Но все его попытки обнять и поцеловать Консуэло встречали неизменное сопротивление – инстинктивное, для гнева у нее не было сил. Когда гондола причалила, Дзустиньяни хотел было на минуту удержать певицу, все еще надеясь добиться от нее хоть одного обнадеживающего слова.

– Простите, синьор граф, – наконец, проговорила она кротко, но равнодушно. – Я сейчас очень слаба и плохо вас слушала, но поняла все. Да, я прекрасно вас поняла. Дайте мне ночь на размышление, дайте мне прийти в себя! А завтра, да… завтра я вам отвечу откровенно.

– Завтра! О дорогая Консуэло! Да это целая вечность! Но я готов покориться, если вы позволите мне надеяться, что, по крайней мере, ваша дружба…

– Да! да! Вы можете надеяться, – странным тоном ответила Консуэло, выходя на берег. – Но не идите за мной, – прибавила она, повелительным жестом указывая ему на гондолу, – иначе вам уже не на что будет надеяться.

Стыд и негодование вернули ей силы, но то был первый, лихорадочный подъем, вылившийся, когда она стала подниматься по лестнице, в какой-то страшный, язвительный смех.

– Вы очень веселы, Консуэло! – послышался в темноте голос, при звуке которого она едва не лишилась сознания. – Поздравляю вас с таким веселым расположением духа!

– О да! – воскликнула она, с силой хватая Андзолетто за руку и быстро поднимаясь с ним к себе в комнату. – Благодарю тебя. Андзолетто, ты прав, что поздравляешь меня: я действительно весела, да, да, бесконечно весела!

Андзолетто, ожидая ее, уже успел зажечь лампу, и когда голубоватый свет упал на их измученные лица, они испугались друг друга.

– Мы очень счастливы, не правда ли, Андзолетто? – резко сказала она, горько усмехнувшись, и слезы так и потекли у нее из глаз. – Скажи, что ты думаешь о нашем счастье?

– Я думаю, Консуэло, – ответил он с такой же горестной усмешкой, хотя глаза его при этом оставались сухи, – что нам было не особенно легко на него согласиться, но что в конце концов мы с ним свыкнемся.

– Мне кажется, ты прекрасно свыкся с будуаром Кориллы.

– А ты, я нахожу, совершенно освоилась с гондолой господина графа.

– Господина графа? Тебе, значит, было известно, Андзолетто, что граф хочет сделать меня своей любовницей?

– И чтобы не мешать тебе, моя милая, я скромно удалился.

– Ах, ты знал это? И выбрал этот момент, чтоб меня бросить?

– Разве я поступил плохо? Разве ты недовольна своей судьбой? Граф – великолепный любовник! Куда же было соперничать с ним жалкому, провалившемуся дебютанту!

– Порпора был прав: вы низкий человек! Уйдите отсюда! Вы не стоите того, чтобы я оправдывалась перед вами, и, мне кажется, ваше сожаление даже оскорбило бы меня. Слышите? Уходите! Но, уходя, знайте, что вы можете дебютировать в Венеции и даже вернуться с Кориллой в Сан-Самуэле: никогда дочь моей матери не появится больше в этом гнусном балагане, величаемом театром!

– Значит, дочь вашей матери, цыганки, собирается изображать знатную даму на вилле Дзустиньяни, на берегу Бренты? Что ж, это блестящее будущее, и я очень рад за вас!

– О, моя дорогая матушка! – воскликнула Консуэло, бросаясь на колени около своей кровати и пряча лицо в одеяло, в свое время служившее смертным покрывалом цыганке.

Андзолетто был испуган и потрясен отчаянием Консуэло, ужасными рыданиями, разрывавшими ей грудь. Угрызения совести внезапно проснулись в нем, и он бросился к подруге, чтобы обнять ее и поднять с пола. Но тут она сама вскочила на ноги и, оттолкнув его с не свойственной ей силой, вытолкала за дверь, крича ему вслед:

– Прочь отсюда! Прочь из моего сердца! Прочь из моей памяти! Прощай! Прощай навсегда!

Намерение, с которым Андзолетто шел к Консуэло, было чудовищно эгоистично, и все же это было лучшее, что он мог придумать. Не чувствуя в себе сил расстаться с Консуэло, он, казалось ему, нашел способ все примирить: рассказать ей об опасности, угрожающей со стороны влюбленного

Дзустиньяни, и тем самым вынудить ее покинуть театр. Его план, конечно, воздавал должное чистоте и гордости Консуэло. Он прекрасно знал, что она не способна ни на какие компромиссы, не способна пользоваться покровительством, из-за которого могла бы краснеть. В его преступной и порочной душе все-таки жила непоколебимая уверенность в невинности Консуэло; он знал, что найдет ее такой же целомудренной, верной и преданной, какою оставил несколько дней назад. Но как совместить это преклонение перед нею, желание оставаться ее женихом и другом с твердым намерением продолжать связь с Кориллой? Дело в том, что он хотел вместе с любовницей вернуться на сцену и, конечно, в такой момент, когда его успех всецело был в руках Кориллы, не мог расстаться с нею. Таков был дерзкий и подлый план, созревший в его голове, а к Консуэло он относился так, как итальянские женщины относятся к мадоннам: в часы раскаяния они молят их о прощении, а когда грешат, прикрывают их лик занавеской.

Однако когда он увидел ее на сцене в комической роли, такой блестящей и на вид такой веселой, в душу его закрался страх, что он потерял на обдумывание своего плана слишком много времени. Увидев, что она вошла в гондолу графа, а потом услышав ее истерический смех и не почувствовав в нем всего отчаяния измученной души, он решил, что опоздал, и в нем закипела досада. Но когда, возмущенная его оскорблениями, она с презрением выгнала его, он сно-

ва почувствовал к ней уважение, смешанное со страхом, и долго стоял на лестнице, а потом бродил по берегу, ожидая, что она его позовет. Он отважился даже постучаться к ней и, стоя за дверью, молить о прощении, но гробовое молчание царило в комнате, куда ему уже никогда не суждено было войти вместе с Консуэло. Смущенный, подавленный, ушел он к себе, намереваясь на следующий день вернуться снова и добиться большего успеха.

«Так или иначе, – говорил он себе, – план мой будет осуществлен: она знает о любви графа, дело наполовину сделано».

Измученный усталостью, Андзолетто долго спал на следующее утро, а после полудня отправился к Корилле.

– Поразительная новость! – воскликнула она, раскрывая ему объятия. – Консуэло уехала!

– Уехала? С кем? Куда?

– В Вену, куда ее отправил Порпора и куда сам он собирается ехать за ней следом. Эта хитрая девчонка провела нас всех: она была приглашена на императорскую сцену, где Порпора ставит свою новую оперу.

– Уехала! Уехала, не сказав мне ни слова! – закричал Андзолетто, бросаясь к двери.

– О! Теперь тебе уже не найти ее в Венеции! – злобно и торжествующе глядя на него, проговорила Корилла. – С рассветом она села на корабль и отправилась в Пеллестрину. Сейчас она уже далеко. Дзустиньяни, которого она про-

вела (он воображал, что пользуется у нее успехом), просто в бешенстве, даже захворал. Только что по его поручению приходил Порпора и просил меня петь в сегодняшнем спектакле. Стефанини страшно устал от театра, жаждет отдохнуть, наконец, на своей вилле и мечтает, чтобы ты возобновил свои дебюты. Итак, знай: завтра тебе предстоит снова выступить в «Гипермнестре». Сейчас я иду на репетицию, меня ждут. Если не веришь, пойди прогуляйся по городу – сам убедишься, что все это правда.

– О фурия! Ты победила! – вскричал Андзолетто. – Но ты убиваешь меня!

И он упал без чувств на персидский ковер куртизанки.

Глава XXI

В самом неловком положении после бегства Консуэло очутился граф Дзустиньяни. Дав повод думать и говорить всей Венеции, будто дебютировавшая дива – его любовница, как мог он без ущерба для своего самолюбия объяснить ее молниеносное таинственное исчезновение теперь – едва он признался ей в любви? Правда, некоторым приходило в голову, что граф, ревнуя свое сокровище, запрятал певицу в одной из своих загородных вилл. Но когда Порпора со свойственной ему суровой правдивостью рассказал, что Консуэло уехала в Германию и будет ждать там его приезда, людям оставалось только ломать себе голову над причинами такого странного поступка. Граф, чтобы обмануть окружающих, делал вид, будто нисколько не удивлен случившимся, но огорчение помимо его воли прорывалось наружу, и всем стало ясно, что успех у Консуэло, с которым его поздравляли, был мнимым успехом. Вскоре большая часть истины выплыла наружу: узнали и об измене Андзолетто, и о соперничестве Кориллы, и об отчаянии бедной испанки, которую все принялись горячо и искренне жалеть.

Первым делом Андзолетто прибежал к Порпоре, но старик сурово оттолкнул его.

– Перестань меня расспрашивать, тщеславный юноша, бессердечный и неверный, – ответил ему с негодованием

профессор, – ты никогда не стоил любви этой благороднейшей девушки и никогда не узнаешь от меня, что с ней сталось. Я приложу все усилия, чтобы скрыть от тебя ее след. Если же когда-нибудь вы случайно встретитесь, надеюсь, что твой образ совершенно изгладится из ее сердца и памяти. Этого я хочу и этого добиваюсь.

От Порпоры Андзолетто отправился на Корте-Минелли. Комната Консуэло была уже сдана новому жильцу и вся заставлена принадлежностями его производства. Это был рабочий, изготовлявший мелкие изделия из стекла. Он давно жил в этом доме и теперь весело перетаскивал сюда свою мастерскую.

– А, это ты, сынок! – обратился он к юному тенору. – Верно, зашел навестить меня в новом помещении? Славно тут у меня будет, и жена рада-радешенька, что теперь сможет разместить внизу детвору. Ты что смотришь? Уж не забыла ли чего Консуэлина? Ищи, милый, смотри хорошенько! Я за это в обиде не буду.

– А куда же дели ее мебель? – спросил Андзолетто. У него защемило сердце, когда он увидел, что в этом месте, связанном с самыми лучшими, самыми чистыми радостями его прошлой жизни, не осталось от Консуэло никакого следа.

– Мебель внизу, во дворе. Она подарила ее старухе Агате. И хорошо сделала: старуха бедна и хоть немножко выручит за нее. Да, наша Консуэло всегда была добрая. Она не только никому не осталась должна, но, уезжая, еще всех понемногу

одарила. Только одно распятие и взяла с собой. Но все-таки как-то странно она уехала: среди ночи, никого не предупредив. Едва рассвело, пришел господин Порпора и распорядился всем, словно по духовному завещанию. Все соседи жалели о ней и только утешались тем, что теперь она, должно быть, будет жить в каком-нибудь дворце на Большом канале, – ведь она стала богатой, важной синьорой. Я всегда говорил, что она со своим голосом далеко пойдет. А уж сколько она училась! Когда же свадьба, Андзолетто? Надеюсь, ты меня не обойдешь – возьмешь у меня побольше безделушек, чтоб одарить девушек нашего квартала?

– Конечно, конечно, – пробормотал, растерявшись, Андзолетто.

Со смертельной тоской в душе выскочил он во двор, где в это время местные кумушки продавали с аукциона кровать и стол Консуэло, – кровать, на которой столько раз он видел ее спящей, стол, за которым она всегда сидела, разбирая ноты…

– Боже мой! От нее уже ничего не осталось, – невольно вырвалось у него, и он убежал, ломая руки.

В эту минуту он готов был заколоть Кориллу.

Через три дня они с Кориллой появились на сцене, и оба были жестоко освистаны. Пришлось даже, не окончив представления, опустить занавес. Андзолетто был вне себя от бешенства, Корилла – невозмутима.

– Вот до чего довело меня твое покровительство! – сказал

он ей угрожающим тоном, когда они остались одни.

– Не много же надо, чтобы огорчить тебя, бедный мальчик, – спокойно ответила ему примадонна, – видно, что ты совсем не знаешь публику и никогда не подвергался ее капризам. Я была так уверена в провале, что даже не потрудилась повторить роль. Тебя же не предупредила только потому, что знала – тебе не хватит храбрости выйти на сцену, если ты будешь знать заранее, что нас освищут. А теперь ты должен узнать, что нас ожидает впереди. В следующий раз нас примут еще хуже. Быть может, три, четыре, шесть, восемь представлений пройдут таким же образом. Но среди этих бурь выкуется партия в нашу пользу. Будь мы самыми захудалыми актеришками на свете, дух противоречия и независимости все равно создал бы нам рьяных сторонников. Есть много людей, которые воображают, что они станут важнее, если будут оскорблять других, но немало и таких, которые считают, что, покровительствуя другим, они тем самым возвышают себя. После десятка представлений, когда театральная зала будет являть собою поле битвы, когда свистки будут перемежаться аплодисментами, строптивые выбьются из сил, упрямцы надуются, а мы с тобой вступим в новую эру. Та часть публики, которая нас поддерживала, сама хорошенько не зная почему, будет слушать нас довольно холодно. Это явится как бы нашим новым дебютом. И вот тут-то нам с тобой нужно будет увлечь, покорить слушателей! К этому моменту я предсказываю тебе большой успех, дорогой

Андзолетто: злые чары, тяготевшие над тобой, успеют рассеяться, ты попадешь в атмосферу благожелательности и восхвалений, и это вдохнет в тебя прежние силы. Вспомни, какое впечатление ты произвел, когда первый раз пел у Дзустиньяни. Ты не успел тогда закрепить свою победу: более блестящая звезда тут же затмила тебя. Но эта звезда скрылась за горизонтом, и теперь готовься подняться со мной на небеса.

Все случилось именно так, как предсказала Корилла. Действительно, в течение нескольких дней любовникам пришлось дорого расплачиваться за потерю, которую понесла публика в лице Консуэло. Но их дерзкое упорство перед бурей истощило гнев публики, слишком яростный, чтобы быть долговечным. Дзустиньяни поддерживал Кориллу. С Андзолетто дело обстояло несколько иначе. После многократных безуспешных попыток пригласить в Венецию нового тенора – театральный сезон в это время почти кончался и ангажементы со всеми театрами Европы были уже заключены – графу пришлось оставить юношу в качестве борца в этом состязании между его театром и публикой. Репутация театра была слишком блестяща, чтобы можно было потерять ее из-за того или другого артиста; такие пустяки не могли сокрушить освященные временем традиции. Все ложи были абонированы на сезон. В них дамы, так же как всегда, принимали гостей и так же, по обыкновению, болтали. Истинные любители музыки некоторое время продолжали сердиться, но их было слишком мало, чтобы это могло быть заметно.

Наконец, и любителям надоело злобствовать. И в один прекрасный вечер Корилла, исполнившая с огнем свою арию, была единодушно вызвана слушателями. Она появилась, таща за собой Андзолетто, которого вовсе не вызывали. Он, казалось, скромно и боязливо уступал ласковому насилию. Тут и на его долю выпали аплодисменты. А на следующий день вызвали его самого. Одним словом, не прошло и месяца, как Консуэло, блеснувшая подобно молнии на летнем небе, была забыта. Корилла производила фурор по-прежнему, но заслуживала его, пожалуй, больше прежнего: соперничество придало ей огня, а любовь – чувства. Андзолетто же хотя и не избавился от своих недостатков, зато научился проявлять свои бесспорные достоинства. К недостаткам привыкли, достоинствами восхищались. Его очаровательная наружность пленяла женщин, он стал самым желанным гостем в салонах, а ревность Кориллы придавала ухаживаниям за ним еще большую остроту. Клоринда также проявляла на сцене свои способности, то есть тяжеловесную красоту и вялую, непомерно глупую чувственность, представляющую интерес для известного сорта зрителей. Дзустиньяни, чтобы забыться, – огорчение его было довольно серьезно, – сделал Клоринду своей любовницей, осыпал ее бриллиантами, выпускал на первые роли, надеясь заменить ею Кориллу, которая на следующий сезон была приглашена в Париж.

Корилла относилась без всякой злобы к этой сопернице, не представлявшей для нее ни в настоящем, ни в будущем

никакой опасности. Ей даже доставляло удовольствие выдвигать эту холодную, наглую, ни перед чем не останавливавшуюся бездарность. Теперь эти два существа, живя в полном согласии, держали в руках всю администрацию. Они не допускали в репертуар ни одной серьезной вещи и мстили Порпоре, не принимая его опер и с блеском выдвигая оперы самых недостойных его соперников. С необыкновенным единодушием вредили они тем, кто им не нравился, и всячески покровительствовали тем, кто перед ними пресмыкался. Благодаря им, публика в Венеции восхищалась в этот сезон совершенно ничтожными произведениями, забыв настоящие, великие творения искусства, царившие здесь прежде.

Андзолетто среди своих успехов и благополучия – граф заключил с ним контракт на довольно выгодных условиях – чувствовал глубокое отвращение ко всему и изнемогал под гнетом своего жалкого счастья. Он возбуждал жалость, когда нехотя шел на репетицию под руку с торжествующей Кориллой, по-прежнему божественно красивый, но бледный, утомленный, со скучающим и самодовольным видом человека, принимающего поклонение, но разбитого, раздавленного тяжестью так легко сорванных им лавров и мирт. Даже на сцене, играя вместе со своей пылкой любовницей, он своими красивыми позами и дерзкой томностью усиленно старался выказывать равнодушие к ней. Когда она пожирала его глазами, он всем своим видом словно говорил публике: «Не думайте, что я отвечаю на ее любовь. Напротив, тот, кто меня

избавит от нее, окажет мне большую услугу».

Дело в том, что Андзолетто, избалованный и развращенный Кориллой, обращал теперь против нее самой эгоизм и неблагодарность, с какими она приучила его относиться ко всем остальным людям. В душе его, несмотря на все пороки, жило одно чистое, настоящее чувство – неискоренимая любовь к Консуэло. Благодаря врожденному легкомыслию, он мог отвлекаться, забываться, но излечиться от этой любви не мог, и среди самого низменного распутства она являлась для него укором и пыткой. Он изменял Корилле направо и налево: сегодня – с Клориндой, чтобы тайком отомстить графу, завтра – с какой-нибудь известной светской красавицей, а там – с самой неопрятной из статисток. Ему ничего не стоило из таинственного будуара светской дамы перенестись в безумную оргию и от исступленных ласк Кориллы – к беззаботному веселью разгульного пира. Казалось, он хочет заглушить всякое воспоминание о прошлом. Но среди всех этих безумств всюду по пятам следовал некий призрак, и когда по ночам ему случалось со своими шумными собутыльниками проплывать в гондоле мимо темных лачуг Корте-Минелли, он не мог удержаться от рыданий.

Корилла, долго сносившая оскорбительное обращение Андзолетто и, как вообще все низкие натуры, склонная любить именно за презрение к себе и обиды, все же начала тяготиться этой пагубной страстью. Она льстила себя надеждой, что поработит, приручит это непокорное существо, и с

ожесточением трудилась над этим, принося в жертву все; но, убедившись, что никогда ничего не добьется, возненавидела любовника и стала стремиться отомстить ему собственными похождениями. Однажды ночью, когда Андзолетто с Клориндой блуждали в гондоле по Венеции, он заметил другую, быстро несущуюся гондолу; потушенный фонарь указывал на то, что на ней происходит тайное любовное свидание. Он бы не обратил внимания на это обстоятельство, но Клоринда, которая боялась быть узнанной и постоянно была настороже, шепнула ему:

– Вели грести медленнее – это гондола графа, я узнала гондольера.

– Напротив, пойдем быстрее, – возразил Андзолетто, – надо догнать ее: мне хочется узнать, какой изменой граф платит сегодня за твою.

– Нет! Нет! Повернем назад! – вскричала Клоринда. – У него такое зоркое зрение и такой тонкий слух! Не будем ему мешать.

– Эй, налегай на весла! – крикнул Андзолетто своему гондольеру. – Я хочу догнать вон ту гондолу, впереди.

Несмотря на ужас и мольбы Клоринды, приказ этот был мгновенно выполнен. Обе гондолы коснулись друг друга, и до ушей Андзолетто донесся плохо сдерживаемый смех.

– Прекрасно! – сказал он. – Справедливость торжествует! Это Корилла наслаждается вечерней прохладой с господином графом!

С этими словами Андзолетто вскочил на нос своей гондолы и, выхватив из рук гондольера весло, стал усиленно грести. В мгновение ока он догнал графскую гондолу и задел ее. Тут, потому ли, что среди взрывов смеха Кориллы он услышал свое имя, или на него нашло безумие, только он громко произнес:

– Дорогая Клоринда, ты, бесспорно, самая красивая, самая привлекательная женщина в мире.

– Я только что это самое говорил Корилле, – произнес граф, показываясь из-под навеса своей гондолы и чрезвычайно непринужденно приближаясь к соседней. – А теперь, когда наши прогулки окончены, мы, как честные люди, владеющие равноценными сокровищами, можем произвести обмен.

– Господин граф воздает должное моей честности, – в том же тоне ответил Андзолетто. – Если его сиятельству будет угодно, я предложу ему руку, чтобы он мог, перейдя сюда, взять свое добро там, где его найдет.

Неизвестно, с каким намерением – быть может, желая выказать свое презрение и поиздеваться над Андзолетто и их общими любовницами, – граф протянул было руку, чтобы опереться на руку юноши, но молодой тенор, взбешенный, дрожа от ненависти, с размаху прыгнул в гондолу графа и с диким возгласом: «Женщина за женщину, гондола за гондолу, господин граф!» – мгновенно опрокинул ее.

Бросив затем свои жертвы на произвол судьбы и предоста-

вив ошеломленной Клоринде распутывать последствия этого приключения, Андзолетто добрался вплавь до противоположного берега, помчался по темным извилистым улочкам, прибежал домой, моментально переоделся, захватил с собой все имевшиеся у него деньги, вышел на дорогу, бросился в первый попавшийся, готовый к отплытию баркас и, несясь на нем к Триесту, с торжеством прищелкнул пальцами, глядя, как купола и колокольни Венеции постепенно исчезают в предрассветной мгле.

Глава XXII

Среди западных отрогов Карпатских гор, отделяющих Чехию от Баварии и носящих в этих местах название Boehmer-Wald (Богемский лес), еще лет сто тому назад возвышался старый, очень обширный замок, называвшийся, не знаю в силу какого предания, замком Исполинов. Хотя издали он и походил на старинную крепость, но теперь представлял собою лишь барскую усадьбу, отделанную внутри в стиле Людовика XIV, уже тогда устаревшем, но все же пышном и благородном. Феодальная архитектура тоже подверглась весьма удачным переделкам в тех частях здания, где обитали графы Рудольштадты, владельцы этого богатого поместья.

Члены этой семьи, чешской по происхождению, онемечили свою фамилию, отрекшись от Реформации в самый трагический момент Тридцатилетней войны. Их доблестный и благородный предок, непоколебимый протестант, был зверски убит бандами солдат-фанатиков на горе, недалеко от замка. Его вдова, родом саксонка, спасла жизнь и состояние своих малых детей, перейдя в католичество и поручив воспитание наследников Рудольштадта иезуитам. Через два поколения, когда над безгласной и угнетенной Чехией окончательно утвердилось австрийское иго, а слава и бедствия Реформации, казалось, были забыты, графы Рудольштадты продолжали жить в своем поместье богато, но скромно, как

благочестивые христиане, верные католики, добрые аристократы и преданные слуги Марии-Терезии. В былые времена они выказали немало доблести и отваги на службе у императора Карла VI. И потому всех удивляло, что последний представитель этого знатного и доблестного рода, молодой Альберт, единственный сын графа Христиана Рудольштадта, не принял участия в только что закончившейся войне за престолонаследие и достиг тридцатилетнего возраста, не познав и не ища иной чести и славы, кроме той, какою обладал по рождению и состоянию. Его странное поведение возбудило подозрение императрицы: а не является ли он единомышленником ее врагов? Но когда граф Христиан удостоился чести принять императрицу в своем замке, он сумел дать ей по поводу поведения сына объяснения, по-видимому, вполне ее удовлетворившие. Содержание беседы Марии-Терезии с графом Рудольштадтом осталось загадкой для всех. Какая-то странная тайна окутывала очаг этой набожной и щедрой на благотворительность семьи, которую почти никто из соседей не посещал уже десять лет; никакие дела, никакие развлечения, никакие политические волнения не могли вынудить Рудольштадтов выехать из своего поместья. Они платили щедро и безропотно все военные налоги, не проявляя никакого волнения по поводу опасностей и бедствий, угрожавших стране в целом, и, казалось, жили какой-то своей жизнью, отличной от жизни прочих аристократов, что вызывало недоверие к ним, хотя их деятельность проявлялась

лишь в добрых и благородных поступках. Не зная, чем объяснить эту безрадостную, обособленную жизнь членов семьи Рудольштадт, их обвиняли то в человеконенавистничестве, то в скупости. Но так как поведение их опровергало на каждом шагу и то и другое, оставалось лишь упрекать их в апатичности и холодности. Говорили, будто граф Христиан не пожелал подвергать опасности жизнь своего единственного сына и последнего представителя рода в этих гибельных войнах, а императрица согласилась принять взамен его военной службы денежную сумму, достаточную, чтобы снарядить целый гусарский полк. Аристократические дамы, имевшие дочерей-невест, решили, что граф поступил очень хорошо; когда же они узнали, что граф Христиан собирается, по-видимому, женить сына на дочери своего брата, барона Фридриха, и что юная баронесса Амалия уже вышла из пражского монастыря, где она воспитывалась, и будет жить отныне в замке Исполинов, близ своего кузена, – эти дамы в один голос заявили, что замок Рудольштадтов – медвежья берлога, а обитатели его необщительны и дики, один хуже другого. Лишь несколько неподкупных слуг и преданных друзей знали семейную тайну и свято хранили ее.

Однажды вечером эта почтенная семья сидела за столом, обильно уставленным дичью и теми сытными блюдами, которыми в то время еще питались наши предки в славянских землях, невзирая на тонкости двора Людовика XV, уже изменившего привычки большей части европейской ари-

стократии. Громадный камин, где пылали толстые дубовые поленья, распространял тепло в просторной мрачной зале. Граф Христиан только что прочитал громким голосом молитву, которую остальные члены семьи выслушали стоя. Многочисленные слуги – все пожилые, степенные, с длинными усами, в национальных костюмах, в широких шароварах мамлюков, – неторопливо служили своим высокочтимым господам. Капеллан замка занял место по правую руку графа, а юная баронесса Амалия – по левую, со стороны сердца, как любил говорить граф с видом отеческим и суровым. Барон Фридрих, его младший брат, которого он всегда называл своим молодым братом (ему еще не было шестидесяти), сел напротив. Канонисса Венцеслава Рудольштадт, его сестра, почтенная шестидесятилетняя особа, необычайно худая и с огромным горбом, уселась на одном конце стола, а граф Альберт, сын графа Христиана и жених Амалии, бледный, рассеянный и угрюмый, поместился на другом, напротив своей достойной тетки.

Из всех этих молчаливых людей Альберт, конечно, был меньше чем кто бы то ни было расположен внести оживление в трапезу – это было не в его привычках. Капеллан был так предан своим хозяевам и так почитал главу семьи, что говорил лишь тогда, когда видел по глазам графа, что тот этого хочет. Граф же был человек такого спокойного, сосредоточенного склада, что почти никогда не искал у других отвлечения от собственных мыслей.

Барон Фридрих был человек менее глубокий, но более живой и деятельный. Такой же кроткий и доброжелательный, как старший брат, он не обладал его умом, и в нем было меньше внутреннего огня. Его религиозность была лишь делом привычки и приличия. Единственной его страстью была охота; он проводил на ней целые дни и возвращался вечером отнюдь не усталый – организм у него был поистине железный, – но весь красный, запыхавшийся, голодный. Он ел за десятерых, а пил за тридцать человек. За десертом он обыкновенно оживлялся, и тут начинались его бесконечные рассказы о том, как его собака Сапфир затравила зайца, как другая собака, Пантера, выследила волка, как взвился в воздух его сокол Аттила. Барона выслушивали с терпеливым добродушием, после чего, сидя у камина в большом кресле, обитом черной кожей, он незаметно засыпал и спал так до тех пор, пока дочь не будила его, говоря, что пора ложиться в постель.

Самой разговорчивой из всей семьи была канонисса. Ее можно было назвать даже болтливой: ведь по крайней мере два раза в неделю она по четверти часа обсуждала с капелланом генеалогию чешских, саксонских и венгерских фамилий. Она знала как свои пять пальцев все родословные, начиная от королей и кончая самым захудалым дворянином.

Что же касается графа Альберта, то в его наружности было что-то пугающее и торжественное. В каждом жесте его чувствовалось некое предзнаменование, в каждом слове

слышался приговор. Почему-то (понять это, очевидно, мог только посвященный в семейную тайну), стоило Альберту открыть рот, что, надо сказать, случалось далеко не каждый день, как все, и родные и слуги, смотрели на него с глубоким страхом и нежной, мучительной тревогой, – все, кроме юной Амалии, которая относилась к словам своего кузена с раздражением и насмешкой и осмеливалась – она одна! – отвечать ему то пренебрежительно, то шутливо, в зависимости от расположения духа.

Эта молодая белокурая девушка, румяная, живая и прекрасно сложенная, была удивительно хороша собой. Когда камеристка, стремясь разогнать ее тоску, называла юную баронессу жемчужиной, та отвечала ей: «Увы! Как жемчужина скрыта в своей раковине, так и я погребена в недрах моей скучнейшей семьи – в этом ужасном замке Исполинов». Из приведенных слов читателю ясно, какая резвая пташка была заключена в этой беспощадной клетке.

В тот вечер торжественное молчание, обычно царившее за семейным столом, а особенно во время первой перемены (оба старых аристократа, канонисса и капеллан обладали солидным аппетитом, не изменявшим им ни в какое время года), было нарушено графом Альбертом.

– Какая ужасная погода! – проговорил он, тяжело вздыхая.

Все с удивлением переглянулись. Сидя более часа в зале с закрытыми дубовыми ставнями, они никак не могли знать,

что за это время погода переменилась к худшему. Полнейшая тишина царила снаружи и внутри, и ничто не предвещало надвигающейся грозы.

Тем не менее никто не решился противоречить Альберту, лишь одна Амалия пожала плечами. После минутного тревожного перерыва снова застучали вилки, и слуги начали медленно переменять блюда.

– Неужели вы не слышите, как бушует ветер среди елей Богемского Леса? Неужели оглушительный рев потока не доносится до вас? – уже громко спросил Альберт, пристально глядя на отца.

Граф Христиан ничего не ответил, а барон, имевший обыкновение всегда со всеми соглашаться, сказал, не сводя глаз с куска дичи, который он в эту минуту разрезал с такой энергией, будто это был гранит:

– Действительно, ветер на заходе солнца предвещает дождь. Весьма вероятно, что завтра будет дурная погода.

Альберт как-то странно улыбнулся, и снова все погрузилось в мрачное молчание, однако не прошло и пяти минут, как страшный порыв ветра, от которого задребезжали стекла в огромных оконных рамах, завыл, завизжал, ударил, как кнутом, по воде, наполнявшей ров, и унесся ввысь, к горным вершинам, с таким пронзительным и жалобным стоном, что все побледнели, кроме Альберта, улыбнувшегося такою же загадочной улыбкой, как и в первый раз.

– В эту минуту, – проговорил он, – гроза гонит к нам одну

душу. Хорошо, если б вы, господин капеллан, помолились за тех, кто путешествует в наших суровых горах в такую ужасную бурю.

– Я молюсь ежечасно и от всего сердца, – ответил дрожащий капеллан, – за тех, кто странствует по тяжким путям жизни, среди бурь людских страстей.

– Не отвечайте ему, господин капеллан, – сказала Амалия, не обращая внимания на взгляды и знаки, предупреждавшие ее со всех сторон, чтобы она не продолжала этого разговора. – Вы хорошо знаете, что моему кузену доставляет удовольствие мучить других, говоря загадками. Что касается меня, то я вовсе не склонна разгадывать их.

Граф Альберт, по-видимому, обращал не больше внимания на пренебрежительный тон своей двоюродной сестры, чем она – на его странные рассуждения. Он поставил локоть прямо в свою тарелку, которая почти всегда стояла перед ним пустой и чистой, и устремил взгляд на камчатную скатерть, словно считая на ней цветочки и звездочки, – в действительности же погруженный в какую-то восторженную думу.

Глава XXIII

Неистовая буря разразилась еще во время ужина. Ужин здесь всегда продолжался два часа – ни больше, ни меньше, даже в постные дни, которые строго соблюдались, причем граф никогда не освобождал себя от ига семейных привычек, столь же священных для него, как установления римской церкви. Грозы были слишком часты в этих горах, а бесконечные леса, еще покрывавшие в ту пору их склоны, вторили шуму ветра и раскатам грома ревом эха, слишком хорошо знакомым обитателям замка, чтобы это явление природы могло так уж сильно их обеспокоить. Однако необыкновенное возбуждение графа Альберта невольно передалось всей семье, и барон, которому помешали наслаждаться вкусной трапезой, был бы, несомненно раздосадован, если бы его доброжелательная кротость могла ему изменить хоть на одно мгновение. Он только глубоко вздохнул, когда страшный удар грома, раздавшийся к концу ужина, так перепугал дворецкого, что тот не попал ножом в кабаний окорок, который разрезал в эту минуту.

– Кончено дело! – сказал барон, сочувственно улыбаясь бедному слуге, удрученному своей неудачей.

– Да, дядюшка, вы правы! – громко воскликнул граф Альберт, вставая с места. – Кончено дело! Гусит сражен – его сожгла молния. Больше он не зазеленеет весной.

– Что ты хочешь этим сказать, мой дорогой сын? – с грустью спросил старик Христиан. – Ты говоришь о большом дубе на Шрекенштейне?[21]

– Да, отец, я говорю о большом дубе, на ветвях которого мы на прошлой неделе велели повесить два десятка монахов-августинцев.

– Он начинает принимать века за недели! – прошептала канонисса, осеняя себя широким крестным знамением. – Если вы и видели во сне, дорогое дитя мое, – повысив голос, обратилась она к племяннику, – события, которые произошли в действительности или еще должны произойти (ведь по странной случайности ваши фантазии не раз сбывались), то гибель этого скверного полузасохшего дуба не будет для нас большой потерей. С ним и со скалой, которую он осеняет, связано у нас столько роковых воспоминаний, принадлежащих истории.

– А я, – с живостью добавила Амалия, довольная, что может наконец дать волю своему язычку, – была бы очень благодарна грозе, если б она избавила нас от этого ужасного дерева-виселицы; ветви его напоминают скелеты, а из ствола, поросшего красным мхом, словно сочится кровь. По вечерам ни разу не проходила я мимо него без содрогания: шелест листьев всегда так жутко напоминал мне предсмертные стоны и хрипы, что, предав себя в руки Божьи, я убегала оттуда

---

[21] Шрекенштейн – скала Ужаса; в этих краях многие места носят такое название. (*Прим. автора*).

без оглядки.

– Амалия, – снова заговорил молодой граф, впервые за много дней отнесшись со вниманием к словам своей кузины, – вы хорошо сделали, что не проводили под Гуситом целые часы и даже ночи, как это делал я. Вы бы увидели и услышали там такое, от чего у вас кровь застыла бы в жилах и чего вы никогда не смогли бы забыть.

– Замолчите! – вскричала молодая баронесса, вздрогнув и отшатнувшись от стола, на который облокотился Альберт. – Я совершенно не понимаю вашей невыносимой забавы – нагонять на меня ужас всякий раз, как вы соблаговолите раскрыть рот.

– Дай Бог, дорогая Амалия, чтобы ваш кузен говорил это только ради забавы, – кротко заметил старый граф.

– Нет, отец, я говорю вам вполне серьезно: дуб на скале Ужаса свалился, раскололся на четыре части, и вы завтра же можете послать дровосеков разрубить его. На этом месте я посажу кипарис и назову его уже не Гуситом, а Кающимся; а скалу Ужаса вам давно следовало назвать скалой Искупления.

– Довольно, довольно, сын мой, – проговорил старик в страшной тревоге, – отгони от себя эти грустные картины и предоставь Богу судить людские деяния.

– Мрачные картины канули в вечность: они перестали существовать вместе с дубом – орудием пытки, которое грозовой вихрь и небесный огонь повергли во прах. Вместо ске-

летов, которые раскачивались на его ветвях, я вижу цветы и плоды, колеблемые ветерком на ветвях нового дерева. А вместо черного человека, который каждую ночь разводил костер под Гуситом, я вижу, отец, парящую над нашими головами чистую, светлую душу. Гроза рассеивается, и, мои дорогие родные, опасность миновала, путешественники теперь в безопасности. Дух мой спокоен. Срок искупления истекает. Я чувствую, что возрождаюсь к жизни.

– О мой дорогой сын! Если бы это было так! – с глубокой нежностью проговорил взволнованным голосом старик. – Если б только ты мог избавиться от всех этих видений и призраков, терзающих тебя! Неужели Господь ниспошлет мне такую милость – вернет моему любимому Альберту покой, надежду и свет веры?

Не успел старик договорить эти ласковые слова, как Альберт тихо склонился над столом и внезапно погрузился в безмятежный сон.

– Этого еще недоставало! – сказала юная баронесса, обращаясь к своему отцу. – Засыпать за столом! Очень любезно, нечего сказать!

– Этот внезапный и глубокий сон кажется мне благодетельным кризисом, после которого в его состоянии должно наступить хотя бы временное улучшение, – сказал капеллан, с любопытством глядя на молодого человека.

– Пусть никто с ним не заговаривает и не пробует его будить, – приказал граф Христиан.

– Боже милосердный, – сложив набожно руки, горячо молилась канонисса, – осуществи его предсказания, и пусть день его тридцатилетия станет днем его полного выздоровления!

– Аминь! – благоговейно произнес капеллан. – Вознесем же сердца наши к милосердному Богу, – продолжал он, – и, воздав ему благодарность за принятую пищу, будем молить его об исцелении этого благородного молодого человека, предмета наших общих забот.

Все встали для благодарственной молитвы и молча продолжали стоять, молясь каждый про себя за последнего из рода Рудольштадтов. Старик Христиан был так взволнован, что две крупные слезы скатились по его поблекшим щекам.

Старый граф уже приказал своим верным слугам перенести спящего сына в его покои, как вдруг барон Фридрих, горя желанием хоть чем-нибудь проявить заботу о дорогом племяннике, радостно и как-то по-детски остановил его:

– Знаешь, братец, мне пришла в голову удачная идея! Если твой сын проснется у себя в одиночестве после какого-нибудь дурного сна, ему снова могут прийти в голову разные мрачные мысли. Прикажи перенести его в гостиную и посадить в мое большое кресло: для сна нет лучше кресла во всем доме. Там ему будет даже удобнее, чем на кровати, а проснется он у весело пылающего камина, среди дружеских лиц.

– Это правда, – ответил граф. – Его действительно можно

перенести в гостиную и положить на большой диван.

– После еды очень вредно спать лежа, – возразил барон. – Поверьте, я это знаю по опыту. Его надо посадить в мое кресло. Да, да, я непременно хочу, чтобы он отдыхал именно в моем кресле.

Христиан понял, что отказать брату значило бы серьезно огорчить его: и молодого графа усадили в кожаное кресло охотника, причем сон его был так близок к летаргическому, что он даже и не почувствовал этого. Барон же с сияющим, гордым видом уселся у камина в другое кресло и стал греть ноги у огня, достойного древних времен, торжествующе улыбаясь всякий раз, когда капеллан повторял, что этот сон должен подействовать на графа Альберта самым благотворным образом. Добряк собирался пожертвовать ради молодого графа не только своим креслом, но и самим послеобеденным сном, чтобы оберегать его покой вместе со всеми членами семьи, но через четверть часа он до того освоился с новым креслом, что вскоре храп его стал заглушать последние раскаты грома, затихавшие вдали.

Вдруг загудел большой колокол замка (тот, в который звонили только в случае необычных посещений), и несколько минут спустя старик Ганс, старейший из слуг, вошел в комнату, держа в руках большой конверт. Он молча подал его графу Христиану и вышел в соседнюю комнату, ожидая приказаний своего господина. Граф Христиан распечатал письмо и, взглянув на подпись, передал его племяннице с прось-

бой прочитать вслух. Полная любопытства и нетерпения, Амалия подошла поближе к свече и прочитала вслух следующее:

Высокочтимый и любезный господин граф!

Ваше сиятельство сделали мне честь, попросив меня оказать вам услугу. Этим вы осчастливили меня еще больше, чем всеми теми услугами, которые некогда оказали мне и которые живут в моем сердце и в моей памяти. Несмотря на все мое стремление выполнить приказание вашего сиятельства, я, однако ж, не надеялся так скоро, как мне бы того хотелось, найти подходящую для этой цели особу. Однако неожиданные обстоятельства благоприятствуют исполнению желания вашего сиятельства, и я спешу направить к вам молодую особу, удовлетворяющую требуемым условиям, правда, лишь отчасти. Посылаю ее поэтому временно, дабы ваша высокочтимая, любезная племянница могла без особого нетерпения ждать, пока мои старания и поиски не приведут к более совершенным результатам.

Девица, которая будет иметь честь передать вам это письмо, – моя ученица и в некотором роде моя приемная дочь. Она будет, как того желает любезная баронесса Амалия, предупредительной и приятной компаньонкой и сведущей преподавательницей музыки. Она не имеет, правда, того образования, которого вы ищете в наставнице: свободно говоря на нескольких иностранных языках, она вряд ли знакома

с ними настолько основательно, чтобы быть в состоянии их преподавать. Музыку же она знает в совершенстве и поет прекрасно. Вы будете довольны ее талантом, голосом, манерой держать себя. Не менее будете вы удовлетворены ее кротостью и благородством ее характера. Ваши сиятельства могут смело приблизить ее к себе, не боясь, что она совершит какой-либо неблаговидный поступок или проявит недостойные чувства. Она не хочет быть связанной в своих обязанностях по отношению к вашему уважаемому семейству и отказывается от вознаграждения. Словом, я посылаю любезной баронессе не дуэнью, не камеристку, а, как она изволила просить меня сама в приписке, сделанной ее прекрасной ручкой в письме вашего сиятельства, – компаньонку и подругу.

Синьор Корнер, получивший назначение при посольстве в Австрии, ожидает приказа о своем выезде. Но, по всей вероятности, приказ этот прибудет не раньше как через два месяца. Синьора Корнер, его достойная супруга, а моя великодушная ученица, желает увезти меня с собой в Вену, где, полагает она, моя карьера будет более удачной. Не надеясь на лучшее будущее, я все же принимаю ее милостивое предложение, так как жажду покинуть неблагодарную Венецию, где я не видел ничего, кроме разочарований, обид и превратностей судьбы. Не дождусь минуты, когда снова увижу благородную Германию, где я знавал более счастливые, радостные

дни и где оставил достойных уважения друзей. Ваше сиятельство хорошо знает, что занимает одно из первых мест в этом старом, обиженном, но не охладевшем сердце, в сердце, полном вечной привязанности к вам и глубокой благодарности. Итак, высокочтимый граф, я препоручаю и вверяю вам мою приемную дочь, прося у вас для нее приюта, покровительства и благословения. Она сумеет отблагодарить вас за ваши милости и постарается быть приятной и полезной молодой баронессе. Не позже как через три месяца я приеду за ней и привезу вам на ее место наставницу, которая может заключить с вашей высокочтимой семьей договор на более продолжительный срок.

В ожидании счастливого дня, когда я смогу пожать руку лучшему из людей, осмелюсь назвать себя, с почтением и гордостью, самым покорным слугой и преданнейшим другом вашего сиятельства, chirissima, stimatissima, illustrissima[22].

Никколо Порпора,
капельмейстер, композитор
и учитель пения. Венеция,
мес… дня… 17… года.

Амалия, дочитав это письмо, подпрыгнула от радости, а старый граф растроганным голосом повторил несколько раз:

– Почтенный Порпора, чудесный друг, достойный, уважа-

---

[22] Светлейшего, почтеннейшего, именитейшего (*итал.*).

емый человек!..

– Конечно, конечно, – сказала канонисса Венцеслава, испытывая, с одной стороны, страх, что приезд чужого человека может чем-то нарушить семейные привычки, а с другой стороны – желание достойным образом оказать гостеприимство приезжей. – Надо как можно лучше встретить и принять ее… Лишь бы она не соскучилась здесь…

– Но где же, дядюшка, моя будущая подруга, моя драгоценная учительница? – воскликнула юная баронесса, не слушая рассуждений тетки. – Должно быть, она скоро явится и сама? Я с нетерпением жду ее!

Граф Христиан позвонил.

– Ганс, кто передал вам это письмо? – спросил он старого слугу.

– Одна дама, ваше сиятельство!

– Она уже здесь! – воскликнула Амалия. – Где же она? Где?

– В почтовой карете, у подъемного моста.

– И вы заставили ее ожидать у ворот замка, вместо того чтобы сейчас же ввести в гостиную?

– Да, госпожа баронесса, взяв письмо, я запретил кучеру двигаться с места. Мост за собой я велел поднять, а затем вручил письмо господину графу.

– Но ведь это нелепо, непростительно заставлять наших гостей ждать в такую ужасную погоду! Можно подумать, что мы живем в крепости и всякий, кто к ней приближается,

враг! Бегите же скорей, Ганс, бегите!..

Но Ганс продолжал стоять неподвижно, как статуя. Лишь в глазах его читалось сожаление, что он не может исполнить распоряжение юной хозяйки; казалось, даже пушечное ядро, пролетев над его головой, не в силах было бы хоть чуточку изменить невозмутимую позу, в которой он ожидал приказаний своего старого господина.

– Дорогое дитя, верный Ганс признает только свой долг и полученные приказания, – произнес, наконец, граф Христиан с такой медлительностью, что у юной баронессы закипела кровь. – Теперь, Ганс, велите открыть ворота и опустить мост. Пусть все выйдут навстречу прибывшей с зажженными факелами – она у нас желанная гостья!

Ганс не выказал ни малейшего удивления, получив приказание сразу ввести незнакомку в дом, куда даже ближайшие родственники и вернейшие друзья допускались не иначе, как с бесконечными предосторожностями. Канонисса пошла распорядиться, чтобы для приезжей приготовили ужин. Амалия хотела уже бежать к подъемному мосту, но дядя предложил ей руку, считая за честь самолично встретить гостью, и пылкой юной баронессе пришлось величественным, медленным шагом прошествовать до колоннады у подъезда, где на первой ступеньке уже стояла, только что выйдя из почтовой кареты, странствующая беглянка – Консуэло.

Глава XXIV

Три месяца прошло с тех пор, как баронесса Амалия забрала себе в голову, что ей необходимо – не столько для занятий, сколько для развлечения – иметь компаньонку, и в своем одиночестве она не раз силилась представить себе, какова же будет ее подруга. Зная угрюмый нрав Порпоры, она боялась, как бы он не прислал ей суровую и педантичную гувернантку. Вот почему она тайком написала профессору, предупреждая его, что плохо примет наставницу старше двадцати пяти лет, – словно было недостаточно выразить такое желание своим родным, для которых она была кумиром и повелительницей.

Письмо Порпоры привело ее в восторг, и она сейчас же создала в уме совершенно новый образ: музыкантша, приемная дочь профессора, молодая девушка, а главное – венецианка, была, по мнению Амалии, как бы нарочно для нее создана, создана по ее образу и подобию.

Поэтому она несколько разочаровалась, когда вместо резвой румяной девочки, о какой она мечтала, увидела бледную, грустную, чрезвычайно смущенную девушку. Ибо, не говоря уже о глубоком горе, терзавшем бедную Консуэло, об усталости от долгого, безостановочного пути, она была еще подавлена страшными переживаниями последних часов: эта ужасная гроза в дремучем лесу, эти поверженные ели, этот

мрак, прорезаемый бледными молниями, а в особенности вид этого мрачного замка, вой охотничьих псов барона, горящие факелы в руках безмолвно стоящих слуг – во всем этом было что-то поистине зловещее. Какой контраст со «сводом лучезарным» Марчелло и гармонической тишиной венецианских ночей, с доверчивой свободой ее прошлой жизни на лоне любви и жизнерадостной поэзии! Когда карета медленно проехала по подъемному мосту и по нему глухо застучали копыта лошадей, когда со страшным скрежетом за ней опустилась подъемная решетка, Консуэло показалось, что она входит в дантовский ад, и, охваченная ужасом, она поручила свою душу Богу.

Вполне понятно, что у нее был растерянный вид, когда она появилась перед хозяевами замка. Когда же она увидела графа Христиана с его вытянутым бледным лицом, поблекшим от старости и горя, его длинную, сухую, одеревенелую фигуру, облаченную в старомодный сюртук, она подумала, что перед ней призрак средневекового владельца замка, и, приняв все окружающее за какую-то галлюцинацию, невольно отшатнулась, едва сдержав крик ужаса.

Старый граф, объясняя себе поведение Консуэло и ее бледность усталостью после столь длинного путешествия в тряской карете, предложил ей руку, чтобы помочь взойти на крыльцо, и попытался сказать ей несколько приветливых, любезных слов. Но помимо того, что природа наделила почтенного старика внешностью невыразительной и холодной,

за много лет уединенной жизни он настолько отвык от общества, что его робость теперь удвоилась, и под его внешностью, на первый взгляд важной и суровой, таились детская конфузливость и способность теряться. Так как он счел своим долгом говорить с Консуэло по-итальянски (он знал язык недурно, но отвык от него), это еще более увеличило его смущение, и он едва смог пробормотать несколько слов, которые девушка, хорошенько не расслышав, приняла за непонятный, таинственный язык привидений.

Амалия, собиравшаяся при встрече броситься к ней на шею, чтобы сразу ее приручить, тоже не нашлась, что сказать: с ней случилось то, что бывает с самыми смелыми людьми, – ее заразили застенчивость и сдержанность окружающих.

Консуэло ввели в большую комнату, где только что отужинали. Граф, желая оказать гостье внимание, а вместе с тем опасаясь показать ей своего сына в летаргическом сне, остановился в нерешительности, и дрожащая Консуэло, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги, опустилась на первый попавшийся стул.

– Дядюшка, – сказала Амалия, поняв замешательство старого графа, – мне кажется, нам лучше принять синьору здесь. Тут теплее, чем в большой гостиной, а она, наверно, страшно озябла от нашего холодного горного ветра, да еще в такую грозу. Я с грустью вижу, что наша гостья падает от усталости, и уверена, что она нуждается в хорошем ужине

и в отдыхе гораздо больше, чем во всех наших церемониях. Не правда ли, дорогая синьора? – добавила она, решаясь, наконец, пожать своей пухленькой ручкой обессилевшую руку Консуэло.

Звук этого свежего, молодого голоса, говорившего по-итальянски с резко выраженным немецким акцентом, сразу успокоил Консуэло. Она подняла свои испуганные глаза на хорошенькое личико юной баронессы, и взгляд, которым обменялись девушки, мгновенно рассеял холод между ними. Консуэло поняла, что это ее будущая ученица и что эта прелестная головка отнюдь не голова привидения. В свою очередь, она пожала ей руку и призналась, что стук кареты совсем оглушил ее, а гроза очень напугала. Охотно подчиняясь всем заботам Амалии, она пересела поближе к пылающему камину, позволила снять с себя мантилью и согласилась отужинать, хотя ей совсем не хотелось есть. Мало-помалу, ободренная все возрастающей любезностью юной хозяйки, она окончательно пришла в себя и к ней вернулась способность видеть, слышать, отвечать.

Пока слуги подавали ужин, разговор зашел, естественно, о Порпоре, и Консуэло с радостью отметила, что старый граф говорит о нем, как о своем друге, не только равном ему, но как будто даже в чем-то его превосходящем. Потом заговорили о путешествии Консуэло, о дороге, по которой она ехала, и о грозе, которая, должно быть, напугала ее.

– Мы в Венеции привыкли к еще более внезапным и бо-

лее опасным грозам, – отвечала Консуэло. – Плывя по городу в гондолах во время грозы, мы даже у порога дома ежеминутно рискуем жизнью. Вода, заменяющая нашим улицам мостовую, в это время быстро прибывает и бушует, словно море в непогоду. Она с такой силой несет наши хрупкие гондолы вдоль стен, что они могут вдребезги разбиться о них, прежде чем нам удастся пристать. Но несмотря на то, что я не раз была свидетельницей подобных несчастных случаев и вовсе не труслива, сегодня, когда с горы было сброшено молнией огромное дерево, которое упало поперек дороги, я испугалась, как никогда в жизни. Лошади взвились на дыбы, а кучер в ужасе закричал: «Проклятое дерево свалилось! «Гусит» упал!». Не можете ли вы мне объяснить, синьора баронесса, что это значит?

Ни граф, ни Амалия не ответили на этот вопрос. Они только вздрогнули и переглянулись.

– Итак, мой дорогой сын не ошибся! – произнес старый граф. – Странно! Очень, очень странно!

Снова встревожившись за сына, он пошел к нему в гостиную, а Амалия, сложив руки, прошептала:

– Тут какое-то колдовство! Видно, сам дьявол с нами!

Эти загадочные слова снова навлекли на Консуэло суеверный ужас, охвативший ее при входе в замок Рудольштадтов. Внезапная бледность Амалии, торжественное молчание старых слуг в красных шароварах, с удивительно похожими друг на друга квадратными багровыми лицами, с тусклыми,

безжизненными глазами рабов, привыкших к своему вечному рабству; эта сумрачная комната, отделанная черным дубом, которую не в состоянии была осветить люстра со множеством горящих свечей; унылые крики пугача, возобновившего после грозы свою охоту вокруг замка; большие фамильные портреты на стенах; громадные вырезанные из дерева головы оленей и диких кабанов, украшавшие стены, – все до мелочей будило в девушке жуткую, только на время улегшуюся тревогу. То, что сообщила ей затем юная баронесса, тоже не могло способствовать ее успокоению.

– Милая синьора, – сказала та, собираясь угостить ее ужином, – будьте готовы увидеть здесь необъяснимые, неслыханные вещи, чаще скучные, но иногда и страшные. Настоящие сцены из романов: если вы расскажете их кому-нибудь, никто не поверит, но вы должны дать слово, что обо всем сохраните вечное молчание!..

Не успела баронесса произнести эти слова, как дверь медленно распахнулась и канонисса Венцеслава, горбатая, с длинным лицом, в строгом одеянии, при ленте своего ордена, с которой она никогда не расставалась, вошла в столовую с таким величественно-приветливым видом, какого она не принимала с достопамятного дня, когда императрица Мария-Терезия, возвращаясь со своей свитой из путешествия по Венгрии, оказала замку Исполинов великую честь: остановилась здесь на час отдохнуть и выпить стакан глинтвейна. Канонисса подошла к Консуэло, которая смотрела на

нее блуждающим взором, забыв даже встать от изумления и испуга, сделала ей два реверанса и, произнеся по-немецки речь, такую обстоятельную и длинную, как будто она давным-давно выучила ее наизусть, поцеловала девушку в лоб. Бедняжка, похолодев как мрамор, решила, что это поцелуй самой смерти, и, чуть не падая в обморок, еле внятно пробормотала слова благодарности.

Заметив, что она смутила гостью более, чем предполагала, канонисса удалилась в гостиную, а Амалия разразилась громким смехом.

– Держу пари, – воскликнула она, – вы подумали, что перед вами тень королевы Либуше! Успокойтесь! Это канонисса – моя тетка, скучнейшее и вместе с тем добрейшее существо в мире.

Едва успев опомниться от пережитого волнения, Консуэло услышала за своей спиной скрип огромных венгерских сапог. Пол буквально задрожал под тяжелыми, размеренными шагами, и грузный человек с такой квадратной и багровой физиономией, что рядом с нею лица толстых слуг казались бледными и худощавыми, молча прошествовал через всю комнату и вышел в большую дверь, которую лакеи почтительно распахнули перед ним. Консуэло снова содрогнулась, а Амалия снова расхохоталась.

– Это, – сказала она, – барон Рудольштадт, самый заядлый охотник, самый большой соня и лучший из отцов. Он только что пробудился от своего послеобеденного сна в го-

стиной. Ровно в девять часов он встает с кресла и, совсем сонный, ничего не видя и не слыша, проходит через эту комнату, поднимается в полусне по лестнице и, ничего не сознавая, ложится в постель. С рассветом он просыпается бодрый, оживленный, деятельный, как юноша, и начинает энергично готовить к охоте собак, лошадей и соколов.

Едва закончила она свои пояснения, как в дверях показался капеллан. Он тоже был толст, но мал ростом и бледен, как все люди лимфатического склада. Созерцательная жизнь не полезна для тяжеловесных славянских натур, и полнота священнослужителя была болезненна. Он ограничился тем, что почтительно поклонился баронессе и ее гостье, что-то шепотом сказал слуге и скрылся в ту же дверь, куда вышел барон. Тотчас же старик Ганс и один из тех автоматов, которых Консуэло не в состоянии была отличить друг от друга, до того они были во всем одинаковы, могучи и степенны, направились в гостиную. Не будучи в силах притворяться, будто она ест, Консуэло обернулась, провожая их глазами. Но прежде чем слуги дошли до двери, на пороге появилось новое существо, поразительнее всех прежних: то был молодой человеке высокого роста, с необыкновенно красивым, но страшно бледным лицом, одетый с головы до ног во все черное. Роскошная бархатная шуба, отороченная куньим мехом, была скреплена на его плечах золотыми застежками. Длинные черные как смоль волосы в беспорядке свисали на его бледные щеки, обрамленные вьющейся от приро-

ды шелковистой бородкой. Он сделал слугам, которые двинулись было ему навстречу, повелительный жест, и те, отступив, замерли на месте, словно прикованные его взглядом. Затем, обернувшись к шедшему за ним графу Христиану, он проговорил мелодичным голосом, в котором чувствовалось необычайное благородство:

– Уверяю вас, отец, никогда я не был так спокоен. Нечто великое свершилось в моей судьбе, и небесная благодать снизошла на наш дом.

– Да услышит тебя Господь, дитя мое! – ответил старик, простирая руки как бы для благословения.

Молодой человек низко склонил голову под рукой отца, потом, выпрямившись, с кротким, ясным лицом дошел до середины комнаты, слегка улыбнулся Амалии, едва коснувшись пальцами протянутой ею руки, и несколько секунд пристально смотрел на Консуэло. Проникнувшись невольным уважением к нему, Консуэло поклонилась, опустив глаза. Он же, не отвечая на поклон, продолжал смотреть на нее.

– Эта молодая особа, – сказала ему по-немецки канонисса, – та самая, которая…

Но он прервал ее, сделав жест, как бы говоривший: «Молчите, не мешайте ходу моих мыслей», потом вдруг отвернулся и, не проявив ни удивления, ни любопытства, медленно вышел через большую дверь.

– Я надеюсь, моя милая, что вы извините… – обратилась к Консуэло канонисса.

– Простите, что я перебиваю вас, тетушка, – сказала Амалия, – но вы говорите по-немецки, а ведь синьора не знает этого языка.

– Извините меня, милая синьора, – ответила по-итальянски Консуэло, – но в детстве я говорила на нескольких языках, так как много путешествовала, и немецкий помню настолько, чтобы прекрасно все понимать. Правда, я не решаюсь заговорить по-немецки, но если вы дадите мне несколько уроков, я уверена, что скоро научусь.

– Значит, совсем как я, – снова заговорила по-немецки канонисса, – я все понимаю, что говорит мадемуазель, а вот разговаривать на ее языке не могу. Но раз она меня понимает, я хочу просить ее извинить невежливость моего племянника, не ответившего на ее поклон. Дело в том, что этот молодой человек сегодня сильно занемог и после случившегося с ним обморока еще так слаб, что, верно, не заметил ее… Не так ли, братец? – прибавила добрая Венцеслава, смущенная своей ложью и ища извинения в глазах графа Христиана.

– Милая сестра, – ответил старик, – вы очень великодушны, желая найти оправдание для моего сына. Но мы попросим синьору не слишком удивляться тому, что она видит. Завтра мы ей все объясним с той откровенностью, с какою можем говорить с приемной дочерью Порпоры и, надеюсь, в ближайшем будущем – другом нашей семьи.

То был час, когда все расходились по своим комнатам, а в замке все было подчинено таким строгим правилам, что,

вздумай молодые девушки засидеться у стола, слуги, казавшиеся настоящими машинами, были бы способны, пожалуй, не обращая внимания на их присутствие, вынести стулья и погасить свечи. Консуэло к тому же мечтала поскорее уйти к себе, и Амалия проводила гостью в нарядную, комфортабельную комнату, которую она велела приготовить рядом со своей собственной.

– Мне очень хотелось бы поболтать с вами часок-другой, – сказала Амалия, когда канонисса, исполнив долг любезной хозяйки, вышла из комнаты. – Мне не терпится познакомить вас со всем, что тут у нас происходит, до того, как вам придется столкнуться с нашими странностями. Но вы, наверно, так устали, что больше всего хотите отдохнуть.

– Это ничего не значит, синьора, – ответила Консуэло. – Правда, я вся разбита, но состояние у меня такое возбужденное, что, боюсь, я всю ночь не сомкну глаз. Поэтому вы можете говорить со мной сколько угодно, но только по-немецки. Это будет мне полезно, а то я вижу, что граф и особенно канонисса не очень сильны в итальянском языке.

– Давайте условимся так, – сказала Амалия, – вы сейчас ляжете в постель, а я в это время пойду накину капот и отпущу горничную. Потом я вернусь, сяду подле вас и мы будем говорить по-немецки до тех пор, пока вам не захочется спать. Согласны?

– От всего сердца, – ответила новая гувернантка.

Глава XXV

– Так знайте же, дорогая… – сказала Амалия, закончив свои приготовления и начиная беседу. – Однако я до сих пор не знаю вашего имени, – улыбаясь, прибавила она. – Пора бы нам отбросить все титулы и церемонии: я хочу, чтобы вы меня звали просто Амалией, а я вас буду называть…

– У меня иностранное имя, его трудно произнести, – ответила Консуэло. – Мой добрый учитель Порпора, отправляя меня сюда, приказал мне называться его именем: покровители и учителя обычно поступают так по отношению к своим любимым ученикам. И вот отныне я разделяю честь носить его имя с великим певцом Уберти: его зовут Порпорино, а меня – Порпорина. Но это слишком длинно, и вы, если хотите, зовите меня просто Нина.

– Прекрасно! Пусть будет Нина, – согласилась Амалия. – А теперь слушайте – мне надо рассказать вам довольно длинную историю. Ведь если я не углублюсь в далекое прошлое, вы никогда не сможете понять всего, что творится в нашем доме.

– Я вся слух и внимание, – сказала Консуэло, ставшая Порпориной.

– Вы, милая Нина, верно, имеете некоторое понятие об истории Чехии? – спросила юная баронесса.

– Увы, нет! – ответила Консуэло. – Мой учитель, должно

быть, писал вам, что я не получила никакого образования. Единственное, что я немного знала, это история музыки; что же касается истории Чехии, то она так же мало известна мне, как и история всех других стран мира.

– В таком случае, – сказала Амалия, – я вкратце сообщу то, что вам необходимо знать, чтобы понять мой рассказ. Триста с лишним лет тому назад угнетенный и забитый народ, среди которого вы теперь очутились, был великим народом, смелым, непобедимым, героическим. Им, правда, и тогда правили иностранцы, а насильно навязанная религия была ему непонятна. Бесчисленные монахи подавляли его; развратный, жестокий король издевался над его достоинством, топтал его чувства. Но скрытая злоба и глубокая ненависть кипели, нарастая, в этом народе, пока, наконец, не разразилась гроза: иностранные правители были изгнаны, религия реформирована, монастыри разграблены и уничтожены, пьяница Венцеслав сброшен с престола и заключен в тюрьму. Сигналом к восстанию послужила казнь Яна Гуса и Иеронима Пражского – двух мужественных чешских ученых, стремившихся исследовать и разъяснить тайну католицизма. Они были вызваны на церковный собор, им обещана была полная безопасность и свобода слова, а потом их осудили и сожгли на костре. Это предательство и гнусность так возмутили национальное чувство чести, что в Чехии и в большей части Германии сейчас же вспыхнула война, продлившаяся долгие годы. Эта кровавая война известна под на-

званием гуситской. Бесчисленные и безобразные преступления были совершены с обеих сторон. Нравы были жестоки и безжалостны в то время по всей земле, а политические раздоры и религиозный фанатизм делали их еще более свирепыми. Чехия наводила ужас на всю Европу. Не буду волновать вас описанием тех страшных сцен, которые здесь происходили: вы и без того подавлены видом этой дикой страны. С одной стороны – бесконечные убийства, пожары, эпидемии, костры, на которых живьем сжигали людей, разрушенные и оскверненные храмы, повешенные или брошенные в кипящую смолу священники и монахи. С другой стороны – обращенные в развалины города, опустошенные края, измена, ложь, зверства, тысячи гуситов, брошенных в рудники, целые овраги, до краев наполненные их трупами, земля, усыпанная их костями и костями их врагов. Свирепые гуситы еще долго оставались непобедимыми, мы и теперь с ужасом произносим их имена. А между тем их любовь к родине, их непоколебимая твердость, их легендарные подвиги невольно будят в глубине души чувство гордости и восхищения, и молодым умам, подобным моему, порой бывает трудно скрыть эти чувства.

– А зачем их скрывать? – наивно спросила Консуэло.

– Да потому, что после долгой, упорной борьбы Чехия снова подпала под иго рабства, потому, моя дорогая Нина, что Чехии больше не существует… Наши властители прекрасно понимали, что свобода религии в нашей стране – это

и политическая ее свобода. Вот почему они задушили и ту и другую.

– До чего я невежественна! – воскликнула Консуэло. – Никогда я не слышала о подобных вещах и даже не подозревала, что люди бывали так несчастны и так злы.

– Сто лет спустя после Яна Гуса, – продолжала Амалия, – новый ученый, новый фанатик – бедный монах по имени Мартин Лютер – снова пробудил в народе дух национальной гордости, внушил Чехии и всем независимым провинциям Германии ненависть к чужеземному игу и призвал народ восстать против пап. Наиболее могущественные короли оставались католиками не столько из любви к этой религии, сколько из жажды неограниченной власти. Австрия соединилась с нами, чтобы раздавить нас, и вот новая война, названная Тридцатилетней, сокрушила, уничтожила нашу нацию. С самого начала этой войны Чехия стала добычей более сильного противника. Австрия обращалась с нами как с побежденными: она отняла у нас нашу веру, нашу свободу, наш язык и даже самое наше имя. Отцы наши мужественно сопротивлялись, но иго императора все более и более давило нас. Вот уже сто двадцать лет, как наше дворянство, разоренное, обессиленное поборами, битвами и пытками, было принуждено либо бежать с родины, либо переменить свою национальность, отказавшись от своего происхождения, сменив свои фамилии на немецкие (запомните это), отрекшись от своей веры. Книги наши были сожжены, школы разруше-

ны, – словом, нас обратили в австрийцев. Мы теперь всего лишь провинция империи. В славянской земле слышен немецкий говор, – этим сказано все.

– Вы и теперь страдаете от этого рабства и стыдитесь его? Я это понимаю и уже ненавижу Австрию всем сердцем.

– Тише! Тише! – воскликнула юная баронесса. – Говорить это громко небезопасно под мрачным небом Чехии. Здесь, в замке, только у одного человека хватает храбрости и безумия произносить вслух то, что вы сказали сейчас, дорогая Нина! И человек этот – мой кузен Альберт.

– Так вот причина грусти, которая написана на его лице! – сказала Консуэло. – При первом же взгляде я прониклась к нему невольным уважением.

– О моя прекрасная львица святого Марка! – воскликнула Амалия, пораженная благородным воодушевлением, которое вдруг озарило бледное лицо подруги. – Вы все принимаете слишком всерьез. Боюсь, что через несколько дней мой кузен возбудит в вас скорее сострадание, чем уважение.

– Одно может не мешать другому, – возразила Консуэло. – Но что вы хотите сказать этим, милая баронесса? Объясните.

– Так слушайте же меня хорошенько, – продолжала Амалия. – Наша семья строго католическая – она свято хранит верность церкви и империи. Мы носим саксонскую фамилию, и наши предки по саксонской линии всегда были правоверными. Если когда-нибудь, на ваше несчастье, моя тетя-канонисса вздумает познакомить вас со всеми заслугами

наших предков, немецких графов и баронов, перед святой церковью, она убедит вас в том, что на нашем гербе нет ни малейшего пятнышка ереси. Даже в тот период, когда Саксония была протестантской, Рудольштадты предпочли скорее лишиться своих протестантских курфюрстов, нежели покинуть лоно римской церкви. Но тетушка никогда не решится превозносить эти заслуги предков в присутствии графа Альберта, иначе вы услышали бы от него самые поразительные вещи, какие когда-либо приходилось слышать человеку.

– Вы все больше возбуждаете мое любопытство, но не удовлетворяете его. Пока что я поняла только одно: я не должна обнаруживать перед вашими благородными родными, что разделяю ваши и графа Альберта симпатии к старой Чехии. Вы можете, милая баронесса, положиться на мою осторожность. К тому же я родилась в католической стране, и уважение к моей религии, так же как и к вашей семье, заставит меня молчать всегда, когда это будет нужно.

– Да, это будет разумно, потому что, предупреждаю вас еще раз, мои родные страшно старомодны в этом вопросе. Что же касается меня, дорогая Нина, то я очень покладиста: я не католичка и не протестантка. Воспитание я получила у монахинь, и, по правде сказать, их проповеди и молитвы мне порядком надоели. Та же скука преследует меня и здесь: тетка моя Венцеслава совмещает в себе одной педантизм и суеверие целого монастыря. Но я слишком дитя своего века, чтобы из духа противоречия ввергнуться в омут люте-

ранских пререканий, – надо признаться, не менее нудных. Гуситы – эта такая древняя история, что я увлекаюсь ими не более, чем подвигами греков и римлян. Мой идеал – это французский дух; и, мне кажется, ничто не может быть выше ума, философии, цивилизации, процветающих в милой, веселой Франции. Время от времени мне удается тайком насладиться чтением ее произведений, и тогда издали, точно во сне, сквозь щели своей тюрьмы я вижу и счастье, и свободу, и развлечения.

– Вы все больше повергаете меня в изумление, – простодушно сказала Консуэло. – Только что, рассказывая о подвигах ваших древних чехов, вы, казалось, и сами были воодушевлены их героизмом. Я приняла вас за их сторонницу и даже немного за еретичку.

– Я больше, чем еретичка, больше, чем сторонница чехов, – со смехом ответила Амалия, – я немножко неверующая и отчаянный бунтарь. Я ненавижу всякое иго, будь оно духовное или светское, и потихоньку, про себя, протестую против Австрии – самой чопорной и самой лицемерной ханжи, какие только бывают на свете.

– А граф Альберт такой же неверующий, как и вы? И такой же поклонник французского духа? Если так, вы должны отлично понимать друг друга.

– Напротив, мы совсем не понимаем друг друга, и теперь, после всех необходимых предисловий, надо, наконец, рассказать вам о нем.

У моего дяди, графа Христиана, не было детей от первого брака. Вторично он женился сорока лет, и от второй жены у него было пять сыновей, которые, как и их мать, умерли от какой-то наследственной болезни – от длительных страданий, кончавшихся мозговой горячкой. Эта вторая жена была чистокровная чешка, по слухам – красавица и умница. Я не знала ее. В большой гостиной вы увидите ее портрет – в ярко-красном плаще и в корсаже, усыпанном драгоценными камнями. Альберт поразительно похож на нее. Он шестой и последний из ее детей. Из всех них только он один достиг тридцатилетнего возраста, и то не без труда: здоровый на вид, он перенес тяжкие недуги, и до сих пор странные симптомы мозговой болезни заставляют опасаться за его жизнь. Между нами говоря, я не думаю, что он намного переживет тот роковой возраст, за который не перешагнула и его мать. Хотя Альберт родился от пожилого отца, организм у него крепкий, но душа, как он сам признает, больная, и болезнь эта все усиливается. С самого раннего детства в голове его бродили какие-то необыкновенные, суеверные мысли. Когда ему было четыре года, он уверял, будто часто видит у своей кровати мать, хотя она умерла и сам он видел, как ее хоронили; по ночам он просыпался от звуков ее голоса. Тетку Венцеславу это так пугало, что она укладывала у постельки ребенка нескольких служанок. А капеллан не знаю уж сколько потратил святой воды, чтобы изгнать этот призрак, сколько отслужил месс, стремясь его умиротворить! Но

ничто не помогло. Мальчик, правда, долго не говорил о своих видениях, но однажды признался кормилице, что он и теперь видит свою милую маму, но не хочет об этом никому рассказывать, так как боится, что господин капеллан снова начнет произносить в его комнате разные злые слова, чтобы помешать ей приходить к нему.

Это был невеселый, молчаливый ребенок. Его всячески развлекали, задаривали игрушками, стараясь доставить ему удовольствие, но все это нагоняло на него еще большую тоску. Наконец, решили не препятствовать более его склонности к учению. И действительно, получив возможность удовлетворить эту свою страсть, он несколько оживился. Но его тихая, вялая меланхолия сменилась каким-то странным возбуждением, перемежавшимся припадками тоски. Догадаться о причинах этой тоски и предотвратить их было немыслимо. Так, например, при виде нищих он заливался слезами, отдавал им все свои детские сокровища, упрекая себя и огорчаясь, что не может дать больше. Если на его глазах били ребенка, грубо обращались с крестьянином, он приходил в такое негодование, что это кончалось или обмороком, или конвульсиями, длившимися по нескольку часов. Все это говорило о его добром сердце и высоких душевных качествах. Но даже самые прекрасные свойства, доведенные до крайности, превращаются в недостатки или делают человека смешным. Разум маленького Альберта не развивался параллельно с чувствами и воображением. Изучение истории увлека-

ло, но не просвещало его. Слушая о людских преступлениях и несправедливостях, он всегда как-то наивно волновался, напоминая того короля варваров, который, слушая рассказ о страданиях Христа, воскликнул, размахивая копьем: «Будь я там со своими воинами, этого бы не случилось: я изрубил бы тех злых евреев на тысячи кусков!».

Альберт не желал принять людей такими, какими они были прежде и каковы они еще и сейчас. Он винил Бога за то, что не все люди сотворены столь же добрыми и сострадательными, как он сам. И вот благодаря своему доброму, нежному сердцу, он, сам того не замечая, стал безбожником и мизантропом. Не в силах понять то, на что сам он был неспособен, Альберт в восемнадцать лет, словно малое дитя, оказался не в состоянии жить с людьми и играть в обществе роль, налагаемую его положением. Если какой-нибудь человек высказывал при нем одну из тех эгоистических мыслей, которыми кишит наш мир и без которых мир этот, пожалуй, не может существовать, Альберт, не считаясь ни с положением этого человека, ни с тем, как к нему относится его семья, сразу отдалялся от него, и ничто не могло заставить его быть с ним хотя бы просто учтивым. Он окружал себя людьми из простонародья, обойденными не только судьбой, но часто и природой. Ребенком он сходился только с детьми бедняков, особенно с увечными и дурачками, играть с которыми всякому другому ребенку было бы и скучно и противно. Своего пристрастия он не потерял до сих пор, и вы очень скоро сами в

этом убедитесь.

Так как при всех своих странностях он был бесспорно умен, обладал прекрасной памятью, имел способность к искусствам, то его отец и добрая тетушка Венцеслава, воспитывавшие его с такой любовью, могли не краснеть за него в обществе. Его наивные выходки они объясняли некоторой дикостью – следствием деревенского образа жизни, а когда он заходил в них слишком далеко, старались под каким-нибудь предлогом удалить его от тех, кто мог бы на это обидеться. Но, несмотря на все его достоинства и дарования, граф и канонисса с ужасом наблюдали, как эта независимая и ко многому безразличная натура все более и более порывает со светскими обычаями и условностями.

– Но до сих пор, – прервала свою собеседницу Консуэло, – я не вижу ничего такого, что говорило бы об упомянутом вами безумии.

– Это потому, что вы сами, по-видимому, прекрасная и чистая душа, – ответила Амалия. – Но, быть может, я утомила вас своей болтовней и вы попробуете уснуть?

– Ничуть, дорогая баронесса, прошу вас – продолжайте, – отвечала Консуэло.

И Амалия продолжала свой рассказ.

Глава XXVI

– Вы говорите, милая Нина, что не видите никаких особых странностей в поведении моего бедного кузена? Сейчас я приведу вам более убедительные доказательства. Мой дядя и моя тетка, безусловно, самые лучшие христиане и самые добрые старики на свете. Эти достойные люди всегда с необыкновенной щедростью раздавали милостыню, причем делали это без малейшего чванства и тщеславия. Так вот, мой кузен считал, что их жизнь противоречит духу Евангелия. Он, видите ли, хотел бы, чтобы они, по примеру первых христиан, продав все и раздав деньги неимущим, сами стали нищими. Если он из любви и уважения к ним не говорил этого прямо, то и не скрывал своих взглядов, с горечью оплакивая судьбу несчастных, которые вечно надрываются за работой, вечно страдают, в то время как богачи живут в праздности и роскоши. Все свои деньги он сейчас же раздавал нищим, считая, конечно, что это капля в море, и тут же начинал просить еще более крупные суммы, отказывать в которых ему не решались, так что деньги текли у него из рук, как вода. Он столько роздал, что во всей округе вы уже не встретите ни одного бедняка, но я должна сказать, что нам от этого не легче: требования малых сих возрастают по мере того, как они удовлетворяются, и наши добрые крестьяне, прежде такие кроткие и смиренные, теперь, благодаря щедротам и

сладким речам своего молодого господина, высоко подняли голову. Не будь над нами императорской власти, которая, с одной стороны, давит нас, а с другой – все-таки оберегает, я думаю, что наши имения и наши замки уже двадцать раз были бы разграблены и разгромлены шайками крестьян из соседних округов. Они голодают вследствие войны, но благодаря неисчерпаемому состраданию Альберта (его доброта известна на тридцать миль вокруг) сели нам на шею, особенно со времени всех этих перипетий с престолонаследием императора Карла.

Когда граф Христиан, желая образумить сына, бывало, говорил ему, что ведь отдать все в один день – значит лишить себя возможности давать завтра, тот отвечал: «Отец мой любимый, разве нет у нас крова, который переживет всех нас, тогда как над головами тысяч бедняков лишь холодное и суровое небо? Разве у каждого из нас не больше одежды, чем нужно, чтобы одеть целую семью в лохмотьях? А разве ежедневно не вижу я за нашим столом такого количества разных яств и чудесных венгерских вин, какого хватило бы, чтобы накормить и поддержать всех этих несчастных нищих, изнуренных нуждой и усталостью? Смеем ли мы отказывать в чем-либо, когда у нас во всем излишек? Имеем ли мы право пользоваться даже необходимым, если у других нет ничего? Разве заветы Христа переменились?».

Что могли ответить на эти прекрасные слова и граф, и канонисса, и капеллан, сами же воспитавшие этого молодого

человека в строгих и возвышенных принципах религии? И они приходили в большое смущение, видя, что питомец их все понимает буквально, не желая идти ни на один из тех требуемых временем компромиссов, на которых, как мне кажется, и основано всякое общественное устройство.

Еще хуже бывало, когда вопрос касался политики: Альберт находил чудовищными человеческие законы, дающие государям право посылать на убой миллионы людей, разорять целые огромные страны ради удовлетворения своего честолюбия и тщеславия. Его нетерпимость становилась опасной, и родные не решались везти его ни в Вену, ни в Прагу, ни вообще в большие города, опасаясь, как бы эта фанатическая любовь к добродетели не повредила им. Не менее беспокоили их и религиозные убеждения Альберта. При такой экзальтированной набожности его вполне могли принять за еретика, достойного костра или виселицы. Он ненавидел пап, этих апостолов Христа, ополчившихся в союзе с королями на спокойствие и благо народа. Он порицал роскошь епископов, светский дух священников и честолюбие всех духовных лиц. Он по целым часам излагал бедному капеллану то, что в далеком прошлом уже говорили в своих проповедях Ян Гус и Мартин Лютер. И при всем этом Альберт проводил целые часы, распростершись на полу часовни, погруженный в глубочайшие размышления, охваченный исступленным восторгом, словно святой. Он соблюдал посты и предавался воздержанию гораздо строже, чем того требова-

ла церковь. Говорили даже, что он носит власяницу и что понадобилась вся власть отца и вся нежность тетушки, чтобы заставить его отказаться от этих истязаний, конечно, немало способствовавших его чрезмерной экзальтации.

Когда наши добрые и разумные родные увидели, что он способен в несколько лет растратить все свое состояние, да к тому же еще как противник святой церкви и Священной Римской империи рискует попасть в тюрьму, они с грустью в душе решили отправить его путешествовать. Они надеялись, что, сталкиваясь с различными людьми, знакомясь в разных странах с их главными государственными установлениями, почти одинаковыми во всем цивилизованном мире, он привыкнет жить среди людей, и жить так, как живут они. И вот его поручили гувернеру, хитрому иезуиту, светскому и очень умному человеку, который понял с полуслова свою роль и взялся исполнить то, чего не решались ему высказать прямо. Откровенно говоря, требовалось обольстить и притупить эту непримиримую душу, сделать ее годной для общественного ярма, вливая в нее по капле необходимые для этого сладкие яды – тщеславие, честолюбие, безразлично-спокойное отношение к религии, политике и морали. Не хмурьтесь так, милая Порпорина! Мой почтенный дядя – простой и добрый человек. С юных лет он смотрел на все так, как ему это было внушено, и умел в течение всей своей жизни без ханжества и излишних рассуждений примирять терпимость с религией, долг христианина – с обязанностями владетельного вель-

можи. В нашем обществе и в наш век, когда на миллион таких людей, как все мы, встречается один такой, как Альберт, мудр тот, кто идет вместе с веком и вместе с обществом. А кто стремится вернуться на две тысячи лет назад, тот безумец: никого не убедив, он только приводит в негодование людей своего круга.

Альберт путешествовал восемь лет. Он посетил Италию, Францию, Англию, Пруссию, Польшу, Россию и даже Турцию. Домой он вернулся через Венгрию, Южную Германию и Баварию. За все время этого долгого путешествия он вел себя вполне благоразумно: не тратил больше, чем позволяло приличное содержание, которое назначили ему родные, писал им ласковые, нежные письма и, не вдаваясь ни в какие рассуждения, просто описывал все виденное; аббату же, своему гувернеру, он не давал ни малейшего повода для жалоб или неудовольствия.

Вернувшись домой в начале прошлого года, он после первых объятий и поцелуев сразу же удалился, как мне рассказывали, в комнату своей покойной матери и, запершись, просидел там несколько часов; затем вышел оттуда страшно бледный и отправился один в горы. В это время аббат вел откровенную беседу с канониссой Венцеславой и капелланом, потребовавшими, чтобы он без утайки рассказал им все о физическом и нравственном состоянии молодого графа. «Граф Альберт, – сказал он им, – уж не знаю, право, отчего – оттого ли, что путешествие сразу изменило его, отто-

го ли, что по вашим рассказам о его детстве я составил себе о нем неверное представление, – граф Альберт, говорю я, с первого дня нашей совместной поездки был таким же, каким вы увидите его сегодня: кротким, спокойным, выносливым, терпеливым и необыкновенно учтивым. За все время он ни разу не изменил себе, и я был бы самым несправедливым человеком на свете, если бы пожаловался хоть на что-либо. Того, чего я так боялся – безумных трат, резких выходок, высокопарных речей, экзальтированного аскетизма, – мне не пришлось наблюдать. Он ни разу не выразил желания самостоятельно распорядиться теми суммами, которые вы мне доверили. Вообще он никогда не проявлял ни малейшего неудовольствия. Правда, я всегда предупреждал его желания и, видя, что к нашей карете подходит нищий, спешил подать милостыню прежде, чем он успевал протянуть руку. Могу сказать, что такой способ действия оказался очень удачным: почти не видя нищеты и недугов, молодой граф, казалось, совершенно перестал думать о том, что его прежде так удручало. Никогда я не слышал, чтобы он бранил кого-нибудь, порицал какой-нибудь обычай или отзывался неодобрительно о каком-нибудь установлении. Его пылкая набожность, так пугавшая вас, уступила место спокойному исполнению обрядов, приличествующему светскому человеку. Он бывал при самых блестящих дворах Европы, проводил время в лучшем обществе, ничем не увлекаясь, но ничем и не возмущаясь. Всюду обращали внимание

на его красоту, благородные манеры, учтивость без всякой напыщенности, на его такт и находчивость в беседе. Молодой граф остался таким же чистым, как самая благовоспитанная девица, не выказывая при этом никакой чопорности, дурного тона. Он бывал в театрах, осматривал музеи, памятники, говорил сдержанно и толково об искусстве. Словом, у меня сложилось представление о нем как о вполне благоразумном, уравновешенном человеке, и мне совершенно непонятно то беспокойство, которое он внушал вам. Если в нем и есть нечто необычное, так это именно чувство меры, осторожность, хладнокровие, отсутствие увлечений и страстей, чего я никогда еще не встречал в молодом человеке, столь щедро наделенном красотой, знатностью и богатством».

Впрочем, в этом отчете не было ничего нового, – он являлся лишь подтверждением частых писем аббата к родным, – но они все время боялись, не преувеличивает ли он, и успокоились лишь теперь, когда он подтвердил полное моральное перерождение моего кузена, видимо не опасаясь, что тот на глазах родственников немедленно опровергнет его своим поведением. Аббата осыпали подарками, благодарностями и стали ждать с нетерпением возвращения Альберта с прогулки. Она тянулась долго, и когда, наконец, молодой граф появился к ужину, все были поражены его бледностью и серьезностью. Если в первую минуту свидания лицо его сияло нежной и глубокой радостью, то теперь от нее не осталось и следа. Все были удивлены и с беспокойством тихонько об-

ратились к аббату за разъяснениями. Тот взглянул на Альберта и, подойдя к отозвавшим его в угол родственникам, ответил с изумлением: «Право, я не нахожу ничего особенного в лице графа – у него все то же благородное, спокойное выражение, какое я привык видеть на протяжении тех восьми лет, что имел честь состоять при нем».

Граф Христиан вполне удовлетворился таким ответом.

– Когда мы расстались с Альбертом, – сказал он сестре, – на щеках его еще играл румянец юности, а внутреннее возбуждение часто – увы! – придавало блеск его глазам и живость голосу. Теперь мы видим его загоревшим от южного солнца, немного похудевшим, вероятно от усталости, и более серьезным, как это и приличествует сложившемуся мужчине. Вам не кажется, сестрица, что сейчас он выглядит гораздо лучше?

– В его серьезности чувствуется грусть, – ответила моя добрая тетушка. – Я никогда в жизни не видела двадцативосьмилетнего молодого человека, который был бы таким вялым и таким молчаливым. Он едва отвечает нам.

– Граф всегда был скуп на слова, – возразил аббат.

– Прежде это было не так, – сказала канонисса. – Если бывали недели, когда мы его видели молчаливым и задумчивым, то бывали и такие дни, когда он воодушевлялся и говорил целыми часами.

– Я никогда не замечал, – возразил аббат, – чтобы он изменял той сдержанности, которую вы наблюдаете в нем те-

перь.

– Неужели он больше нравился вам, когда говорил слишком много и своими разговорами приводил нас в ужас? – спросил граф Христиан свою озабоченную сестру. – Ох, эти женщины!

– Да, но тогда он все-таки жил, – сказала она, – а теперь он производит впечатление выходца с того света, равнодушного ко всему земному.

– Таков характер молодого графа, – сказал аббат, – он человек замкнутый, ни с кем не любит делиться впечатлениями, да, говоря откровенно, и не поддается влиянию никаких внешних воздействий. Это свойство людей холодных, благоразумных, рассудительных; так уж он создан, и я глубоко убежден, что, стремясь расшевелить его, можно только внести тревогу в его душу, чуждую всякой живости и опасной предприимчивости.

– О! Я готова поклясться, что его истинный характер вовсе не таков! – воскликнула канонисса.

– Госпожа канонисса, вероятно, откажется от своего предубеждения против столь редкого преимущества, – сказал аббат.

– В самом деле, сестрица, – сказал граф Христиан, – я нахожу, что господин аббат рассуждает весьма мудро. Не он ли своими усилиями и влиянием достиг того, к чему мы так стремились? Не он ли предотвратил несчастья, которых мы так боялись? Альберт был расточителен, экзальтирован, без-

рассудно смел. Вернулся он к нам таким, каким ему подобает быть, чтобы заслужить уважение, доверие и почтение окружающих.

– Но вернулся истертым, как старинная книга, – проговорила тетушка, – а может быть, ожесточенным и презирающим все, что не соответствует его тайным желаниям. Мне даже кажется, что он не рад видеть нас, а мы-то ждали его с таким нетерпением!

– Граф и сам с нетерпением стремился домой, – заметил аббат, – я прекрасно это видел, хотя открыто он этого не выказывал. Он ведь так необщителен. По природе своей он очень сдержанный человек.

– Наоборот, по природе он очень экспансивен, – горячо возразила канонисса. – Подчас он бывал вспыльчив, а по временам чрезвычайно нежен. Часто он сердил меня, но стоило ему броситься мне на шею, и я тотчас все ему прощала.

– По отношению ко мне ему никогда ничего не приходилось заглаживать, – сказал аббат.

– Поверьте, сестрица, так гораздо лучше, – настаивал мой дядя.

– Увы! – воскликнула канонисса. – Неужели всегда у него будет это выражение лица, которое приводит меня в ужас и надрывает мне сердце?

– Это гордое, благородное выражение, приличествующее человеку его круга, – сказал аббат.

– Нет! Это просто каменное лицо! – воскликнула кано-

нисса. – Когда я смотрю на него, мне кажется, что я вижу его мать, но не добрую и нежную, какой я ее знала, а ледяную и неподвижную, такую, какой она нарисована на портрете в дубовой раме.

– Повторяю вашему сиятельству, – настаивал аббат, – что таково было обычное выражение лица графа Альберта на протяжении этих восьми лет.

– Увы! Значит, вот уже восемь ужасных лет, как он никому не улыбнулся! – воскликнула, заливаясь слезами, моя добрейшая тетушка. – За те два часа, что я не свожу с него глаз, его сжатые бескровные губы ни разу не оживились улыбкой, Ах, мне хочется броситься к нему, прижать его к сердцу, упрекнуть в равнодушии, даже выбранить, как бывало. Быть может, и теперь, как прежде, он, рыдая, кинулся бы мне на шею!

– Сохрани вас Бог от такой неосторожности, дорогая сестра, – проговорил граф Христиан, заставляя плачущую тетушку отвернуться от Альберта. – Не поддавайтесь материнской слабости, – продолжал он, – мы уже с вами видели, каким бичом была эта чрезмерная чувствительность для жизни и рассудка нашего бедного мальчика. Развлекая его, устраняя от него всякое сильное волнение, господин аббат, следуя указаниям врачей и нашим, умиротворил эту тревожную душу. Смотрите, не испортите все, что он сделал, причудами своей ребячливой нежности.

Канонисса согласилась с этими доводами и постаралась

примириться с ледяной холодностью Альберта, но она не могла к ней привыкнуть и то и дело шептала на ухо брату: «Что там ни говорите, Христиан, но я боюсь, что, обращаясь с ним, как с больным ребенком, а не как с мужчиной, аббат погубил его».

Вечером, отходя ко сну, все начали прощаться; Альберт почтительно склонился под отцовским благословением; когда же канонисса прижала его к своей груди и он заметил, что она вся дрожит, а голос ее прерывается от волнения, он тоже задрожал и, словно почувствовав нестерпимую боль, вдруг вырвался из ее объятий.

– Видите, сестрица, – шепотом сказал граф, – он отвык от душевных волнений, вы ему вредите.

Говоря это, граф, сам далеко не успокоенный, с тревогой следил глазами за сыном, желая проверить, как тот относится к аббату: не предпочитает ли он теперь его всем своим родственникам? Но Альберт с холодной вежливостью поклонился гувернеру.

– Дорогой сын, – проговорил граф, – мне кажется, что я поступил сообразно твоим желаниям и симпатиям, попросив господина аббата не покидать тебя, как он имел намерение сделать, а остаться с нами возможно дольше. Мне не хотелось бы, чтобы наше счастье – счастье снова быть вместе – омрачилось для тебя каким-либо огорчением, и я хочу надеяться, что твой уважаемый друг поможет нам сделать для тебя эту радость безоблачной.

Альберт ответил на это лишь глубоким поклоном, и какая-то странная улыбка мелькнула на его губах.

– Увы, – сказала бедная канонисса, когда племянник вышел, – вот как он улыбается теперь!

Глава XXVII

– Во время отсутствия Альберта граф и канонисса строили много всяких планов о будущности своего дорогого мальчика, особенно о его женитьбе. С его красотой, именем и со все еще очень значительным состоянием Альберт мог рассчитывать на самую лучшую партию. Однако на тот случай, если бы остатки апатии и нелюдимости помешали его светским успехам, обожавшие его родные держали для него в запасе молодую девушку с таким же знатным именем, как и у него самого, – его кузину, носящую ту же фамилию. Единственная дочь, она была менее богата, чем он, но довольно хороша собой – такими бывают в шестнадцать лет девочки, красивые свежестью молодости. Эта молодая особа – баронесса Амалия фон Рудольштадт, ваша покорная слуга и новая подруга.

«Она, – говорили между собой старики, сидя у камина, – не видела еще ни одного мужчины. Воспитанница монастыря, она с радостью пойдет замуж, лишь бы вырваться оттуда. Претендовать на лучшую партию она не может. А что касается странностей, которые могут сохраниться в характере ее двоюродного брата, то воспоминания детства, родство, несколько месяцев близости с нами, конечно, все сгладят и заставят ее, хотя бы из родственного чувства, молчаливо выносить то, чего, быть может, не стала бы терпеть чужая». В

согласии моего отца они не сомневались: по правде сказать, собственной воли у него никогда не было, и всю жизнь он поступал так, как того хотели его старший брат и сестра Венцеслава.

После двух недель внимательного наблюдения дядя и тетка поняли, что последнему отпрыску их рода, вследствие меланхоличности и полнейшей замкнутости характера, не суждено покрыть их имя новой славой. Молодой граф не проявлял ни малейшего желания блистать на каком-либо поприще: его не тянуло ни к военной карьере, ни к гражданской, ни к дипломатической. На все предложения он отвечал с покорным видом, что готов подчиниться воле родных, но что ему самому не нужно ни роскоши, ни почестей. В сущности, апатичный характер Альберта был повторением, но в более сильной степени, характера его отца, у которого терпение граничит с безразличием, а скромность является чем-то вроде самоотречения. Что выставляет моего дядю в несколько ином свете и чего нет у его сына, так это его горячая, притом лишенная всякой напыщенности и тщеславия, преданность общественному долгу. Альберт, казалось, признавал теперь семейные обязанности, но к обязанностям общественным, как мы их понимаем, относился, по-видимому, не менее равнодушно, чем в детские годы. Наши отцы, его и мой, сражались под знаменами Монтекукули против Тюренна. В войну они вносили фанатизм, подогретый сознанием величия империи. В то время считалось долгом слепо повиноваться и

слепо верить своим властелинам. Наше более просвещенное время срывает ореол с монархов, и современная молодежь осмеливается не верить ни императорской короне, ни папской тиаре. Когда дядя пытался пробудить в сыне древний рыцарский пыл, он прекрасно видел, что все его речи ровно ничего не говорят этому скептически настроенному человеку, ко всему относящемуся с презрением.

«Если уж это так, не будем ему перечить, – решили дядя с теткой, – не будем вредить этому печальному выздоровлению, в результате которого вместо рассерженного юноши нам вернули угасшего мужчину. Пусть живет спокойно, как ему хочется. Пусть будет усидчивым ученым-философом, как некоторые из его предков, или же страстным охотником, подобно нашему брату Фридриху, или справедливым, творящим добро помещиком, каким старается быть его отец. Пусть он ведет отныне спокойную, безобидную жизнь старика; он будет первым из Рудольштадтов, не знавшим молодости. Но так как нельзя допустить, чтобы с ним угас и наш род, надо поскорее женить его, дабы наследники нашего имени восполнили этот пробел на блестящих страницах нашей истории. Кто знает, быть может, по воле провидения рыцарская кровь его предков, как бы отдыхая в нем, забурлит с новой силой и отвагой в жилах его потомков?».

И тут же было решено поговорить с Альбертом о женитьбе.

Сначала ему лишь намекали об этом, но, видя, что он и к

женитьбе относится с таким же равнодушием, как ко всему прочему, стали говорить с ним более серьезно и настойчиво. Он возражал, ссылаясь на свою застенчивость, на неумение вести себя в женском обществе.

«Надо правду сказать, – говорила тетушка, – что, будь я молодой женщиной, такой угрюмый претендент, как наш Альберт, внушил бы мне больше страха, чем желания выйти за него замуж, и я бы даже горб свой не променяла на его речи».

«Значит, нам нужно прибегнуть к последнему средству, – решил дядя, – женить его на Амалии. Он знал ее ребенком, смотрит на нее как на сестру, поэтому будет с нею менее застенчив. А так как она характера веселого и решительного, то своей жизнерадостностью может вывести нашего Альберта из этой меланхолии, которой он поддается все больше и больше».

Альберт не отклонил этого проекта, но и не высказался за него, – он только согласился увидеться со мной и познакомиться ближе. Решено было ни о чем меня не предупреждать, чтобы избавить от обиды отказа, вполне возможного с его стороны. Написали об этом моему отцу и, получив его согласие, начали сейчас же хлопотать перед папой о разрешении на наш брак, необходимом ввиду близкого родства. Тем временем отец взял меня из монастыря, и в одно прекрасное утро мы подъехали к замку Исполинов. Наслаждаясь свежим деревенским воздухом, я с нетерпением ждала

минуты, когда увижу своего жениха. Добрый мой отец, полный надежд, воображал, будто я ничего не знаю о брачном проекте, а сам в дороге, не замечая этого, все мне выболтал.

Первое, что меня поразило в Альберте, это его красота и благородная осанка. Признаюсь вам, милая Нина, что мое сердечко сильно забилось, когда он поцеловал мне руку, и в течение нескольких дней каждый его взгляд, каждое слово приводили меня в восторг. Его серьезность нисколько не отталкивала меня, а он, по-видимому, не чувствовал в моем присутствии ни малейшего стеснения. Как в дни детства, он говорил мне «ты», и когда, из опасения нарушить светские приличия, старался поправиться, родные разрешали ему это и даже просили сохранять в обращении со мной прежнюю фамильярность. Моя веселость порой вызывала у него непринужденную улыбку, и наша добрая тетушка, вне себя от восторга, приписывала мне одной честь этого исцеления, которое уже считала окончательным. Словом, он относился ко мне кротко и ласково, как к ребенку, и пока что я довольствовалась этим, уверенная, что в недалеком будущем он обратит более серьезное внимание на мою задорную улыбку и на мои красивые туалеты, на которые я не скупилась, чтобы ему понравиться.

Однако вскоре, к моему огорчению, мне пришлось убедиться, что он очень мало интересуется моей наружностью, а туалетов просто не замечает. Как-то раз тетушка обратила его внимание на прелестное небесно-голубое платье, чу-

десно обрисовывавшее мою фигуру. А он стал уверять, что платье ярко-красное. Тут аббат, его гувернер, большой любитель комплиментов, желая преподать ему урок учтивости, вмешался, говоря, что он отлично понимает, почему граф Альберт не разглядел цвета моего платья. Казалось бы, моему кузену представлялся удобный случай сказать мне какую-нибудь любезность по поводу роз на моих щеках и золота моих волос. Но он лишь сухо возразил аббату, что различать цвета умеет не хуже его и что платье мое красно, как кровь.

Не знаю почему, но эти странные слова и резкий тон вызвали во мне дрожь. Я взглянула на Альберта, и мне вдруг стало страшно от выражения его глаз. С этого дня я стала больше бояться его, чем любить. Вскоре я совсем его разлюбила, а теперь и не боюсь, и не люблю. Я просто жалею его – и только. Вы сами мало-помалу увидите, почему это так, и поймете меня.

На следующий день мы собирались отправиться за покупками в Тусту, ближайший город. Я очень радовалась предстоящей прогулке. Альберт должен был верхом сопровождать меня. Я была готова и ждала, что он подсадит меня в седло. Кареты были поданы и стояли у подъезда, а Альберт все не появлялся. Его камердинер доложил, что постучался к нему утром, как обычно. Камердинера снова послали справиться, готов ли молодой граф. Надо сказать, что у Альберта была мания всегда одеваться самому, без чьей-либо помо-

щи, и только выйдя из своей комнаты, он разрешал камердинеру войти туда. Напрасно стучались к нему – он не отвечал. Обеспокоенный этим молчанием, старый граф решил сам отправиться в комнату сына, но ему не удалось ни открыть дверь, запертую изнутри, ни добиться от Альберта хотя бы одного слова. Все начали уже сильно тревожиться, но аббат весьма спокойно объявил, что у графа Альберта бывают иногда припадки непробудного сна, нечто вроде оцепенения, и если его внезапно разбудить, то он бывает очень возбужден и дурно себя чувствует в течение нескольких дней.

«Но ведь это болезнь!» – с тревогой воскликнула канонисса.

«Не думаю, – отвечал аббат, – я никогда не слышал, чтобы он на что-либо жаловался. Доктора, которых я приглашал в подобных случаях, не находили у графа никакой болезни, а это состояние объясняли переутомлением, физическим или умственным. Они настоятельно советовали не противиться его потребности в полном покое и забвении».

«И часто это с ним бывает?» – спросил дядя.

«Я наблюдал такое явление лишь пять-шесть раз за все восемь лет, – ответил аббат, – и так как я никогда не тревожил его, то оно проходило без всяких неприятных последствий».

«И долго оно продолжается?» – спросила я в свою очередь, очень раздосадованная.

«Более или менее, – сказал аббат, – в зависимости от то-

го, сколько времени длилась бессонница, предшествовавшая этой потере сил или вызвавшая ее. Но знать это наперед невозможно, так как граф сам не помнит причины или не хочет о ней говорить. Он очень много работает и скрывает это с редкой скромностью».

«Значит, он очень начитан?» – спросила я.

«Чрезвычайно», – ответил аббат.

«И никогда этого не выказывает?»

«Он это скрывает, да, пожалуй, и сам не подозревает всей глубины своих знаний».

«На что же они ему в таком случае?»

«Гений как красота, – ответил льстивый иезуит, глядя на меня маслеными глазками, – это милости неба, не внушающие ни гордости, ни волнения тем, кто ими наделен».

Я поняла его наставление и, как вы можете себе представить, еще больше разозлилась. Решено было отложить прогулку до пробуждения моего кузена. Но когда по прошествии двух часов он так и не появился, я скинула свою великолепную амазонку и села вышивать за пяльцы. Не скрою, при этом я изорвала много шелка и пропустила немало крестиков. Дерзость Альберта возмутила меня. Как смел он, сидя над своими книгами, забыть о предстоящей прогулке со мной и теперь спать непробудным сном, в то время как я его жду?! Время шло, и поневоле пришлось отказаться от поездки в город. Мой отец, вполне удовлетворившись объяснениями аббата, взял ружье и преспокойно отправился стрелять

зайцев. Тетушка, менее спокойная, раз двадцать поднималась к комнате племянника, чтобы послушать у его дверей. Но там царила мертвая тишина, не слышно было даже его дыхания. Бедная старушка была в отчаянии, видя, до чего я недовольна. А дядя Христиан, чтобы забыться, взял книжку духовного содержания, уселся в уголке гостиной и стал читать с таким смирением, что я готова была выпрыгнуть в окно с досады. Наконец, уже под вечер, тетушка, сияя от радости, пришла сказать, что Альберт встал и одевается. Аббат посоветовал нам при появлении молодого графа не проявлять ни удивления, ни беспокойства, не предлагать ему никаких вопросов и только стараться отвлечь его, если он будет огорчен случившимся.

«Но если мой кузен не болен, значит, он помешанный?» – воскликнула я, вспылив.

Я сейчас же пожалела о сказанном, увидев, как изменилось от моих жестоких слов лицо бледного дяди. Но когда Альберт, как ни в чем не бывало, вошел, не найдя нужным даже извиниться и, видимо, нимало не подозревая о нашем недовольстве, я возмутилась и поздоровалась с ним очень сухо. Он даже не заметил этого. Видимо, он был весь погружен в свои думы.

Вечером моему отцу пришло в голову, что Альберта может развеселить музыка. Я еще ни разу не пела при нем; моя арфа прибыла только накануне. Не перед вами, искусная Порпорина, мне хвастаться своими познаниями в музы-

ке, но вы сами убедитесь, что у меня недурной голосок и есть врожденная музыкальность. Я заставила долго просить себя: мне больше хотелось плакать, чем петь. Альберт не проронил ни слова, не выказал ни малейшего желания послушать меня. Наконец, я все-таки согласилась, но пела очень плохо, и Альберт, словно я терзала ему слух, был настолько груб, что после нескольких тактов вышел из комнаты. Мне пришлось призвать на помощь все мое самолюбие, всю мою гордость, чтобы не расплакаться и допеть арию, не порвав со злости струн арфы. Тетушка вышла вслед за племянником, отец мой сейчас же заснул, а дядя ждал у дверей возвращения сестры, чтобы узнать от нее, что с сыном. Один аббат рассыпался передо мной в комплиментах, но они злили меня еще больше, чем безразличие остальных.

«По-видимому, мой кузен не любит музыки», – сказала я.

«Напротив, он очень ее любит, – отвечал аббат, – но это зависит…»

«От того, как поют», – прервала я его.

«…От его душевного состояния, – продолжал он, не смутившись. – Иногда музыка ему приятна, иногда вредна. По-видимому, вы так его растрогали, что он не в силах был владеть собой и ушел, испугавшись, как бы не обнаружить свои чувства. Это бегство должно вам льстить больше всяких похвал».

В лести иезуита было что-то хитрое и насмешливое, возбуждавшее во мне ненависть к этому человеку. Но скоро я

была избавлена от него, как вы это сейчас увидите.

Глава XXVIII

– На следующий день моей тетушке, которая становится разговорчивой лишь тогда, когда она чем-нибудь взволнована, пришла в голову злосчастная мысль затеять беседу с аббатом и капелланом. А так как, помимо родственных привязанностей, поглощающих ее почти всецело, единственное в мире, что ее интересует, – это величие нашего рода, то она не преминула распространиться насчет своей родословной, доказывая обоим священникам, что наш род, особенно по женской линии, самый знаменитый, самый чистый – словом, наилучший из всех немецких родов. Аббат слушал терпеливо, капеллан – с благоговением, как вдруг Альберт, казалось совершенно не слушавший тетушку, прервал ее с легким раздражением:

«Мне кажется, милая тетушка, что вы заблуждаетесь относительно превосходства нашего рода. Правда, и дворянство и титулы получены нашими предками довольно давно, но род, потерявший свое имя и, так сказать, отрекшийся от него, сменивший его на имя женщины, чужой по национальности и по вере, – такой род утрачивает право гордиться своими старинными доблестями и верностью своей стране».

Это замечание задело канониссу за живое, и, заметив, что аббат насторожился, она сочла нужным возразить племяннику.

«Я не согласна с вами, дорогой мой, – сказала она. – Не раз бывало, что какой-нибудь именитый род возвышался еще более, присоединив к своему имени имя материнской ветви, дабы не лишить своих наследников чести происходить от женщины славного рода».

«Но здесь этот пример неприменим, – возразил Альберт с несвойственной ему настойчивостью. – Я понимаю, что можно соединить два славных имени. И нахожу вполне справедливым, чтобы женщина передала детям свое имя, присоединив его к имени мужа. Но полное уничтожение имени мужа кажется мне оскорблением со стороны той, которая этого требует, и низостью со стороны того, кто этому подчиняется».

«Альберт, вы вспоминаете события из слишком далекого прошлого, – проговорила с глубоким вздохом канонисса, – и приводите пример еще менее удачный, чем мой. Господин аббат, слушая вас, мог подумать, что какой-то мужчина, наш предок, был способен на низость. Раз вы так прекрасно осведомлены о вещах, которые, как я думала, вам почти неизвестны, вы не должны были делать подобное замечание по поводу политических событий… столь далеких от нас, благодарение Богу…»

«Если сказанное мною вам неприятно, тетушка, я сейчас приведу факт, который смоет всякое позорное обвинение с памяти нашего предка Витольда, последнего из Рудольштадтов. Это, мне кажется, очень интересует мою кузину, – заме-

тил он, видя, как я вытаращила на него глаза, пораженная тем, что он, вопреки своей обычной молчаливости и философскому образу мыслей, вдруг пустился в такой спор. – Да будет вам известно, Амалия, что нашему прадеду Братиславу едва исполнилось четыре года, когда его мать, Ульрика Рудольштадтская, сочла нужным заклеймить его позором, отняв у него его настоящее имя, имя его отцов – Подебрад, и дав ему взамен то саксонское имя, которое мы теперь носим вместе с вами: вы – не краснея за него, а я – не гордясь им».

«Я считаю по меньшей мере бесполезным вспоминать о вещах, столь далеких от нашей эпохи», – проговорил граф Христиан, которому, видимо, было не по себе.

«Мне кажется, тетушка заглянула в еще более далекое прошлое, рассказывая нам превеликие заслуга Рудольштадтов, и, по-моему, нет ничего дурного, если кто-нибудь из нас, случайно вспомнив, что он чех, а не саксонец по происхождению, что его зовут Подебрад, а не Рудольштадт, станет рассказывать о событиях, которые произошли всего каких-нибудь сто двадцать лет тому назад».

«Я знал, – вмешался аббат, слушавший Альберта с большим интересом, – что ваш именитый род в прошлом был в родстве с королевским родом Георга Подебрада, но не подозревал, что вы прямые его потомки, имеющие право носить его имя».

«Это потому, – ответил Альберт, – что тетушка, так хорошо разбирающаяся в генеалогии, сочла нужным изъять из

своей памяти то древнее и благородное древо, от которого происходим мы. Но то генеалогическое древо, на котором кровавыми буквами занесена наша славная и мрачная история, еще высится на соседней горе».

Так как, говоря это, Альберт оживлялся все больше и больше, а лицо дяди делалось все мрачнее, аббат, хотя в нем и было задето любопытство, попробовал переменить разговор. Но мое любопытство было слишком сильно.

«Что вы хотите сказать этим, Альберт?» – воскликнула я, подходя к нему.

«Я хочу сказать то, что должно быть известно женщине из рода Подебрадов, – ответил он. – Я хочу сказать, что на старом дубе скалы Ужаса, на который вы ежедневно смотрите из своего окна, Амалия, и под сень которого я советую вам никогда не садиться, не сотворив молитвы, триста лет тому назад висели плоды потяжелее тех высохших желудей, которые теперь почти не растут на нем».

«Это ужасная история, – пробормотал перепуганный капеллан, – не понимаю, кто мог об этом рассказать графу Альберту».

«Местное предание, а быть может, нечто еще более достоверное, – ответил Альберт. – Как ни сжигай семейные архивы и исторические документы, господин капеллан, как ни воспитывай детей в неведении минувшего, как ни заставляй молчать простодушных людей с помощью софизмов, а слабых – с помощью угроз, – ни страх перед деспотизмом, ни

боязнь ада не могут заглушить тысячи голосов прошлого – они несутся отовсюду. Нет! Нет! Они слишком громки, эти ужасные голоса, чтобы слова священника могли заставить их умолкнуть. Когда мы спим, они говорят с нашими душами устами призраков, поднимающихся из могил, дабы предупредить нас; мы слышим эти голоса среди шума природы; они, как некогда голоса богов в священных рощах, исходят даже из древесных стволов, чтобы рассказать нам о преступлениях, о несчастьях и подвигах наших отцов…»

«Зачем, бедный мой мальчик, ты мучаешь себя такими горестными мыслями и роковыми воспоминаниями?» – проговорила канонисса.

«Это ваша генеалогия, тетушка, это путешествие, только что совершенное вами в прошлые века, – это они пробудили во мне воспоминание о пятнадцати монахах, которых собственноручно повесил на ветвях дуба один из моих предков… Да, мой предок, самый великий, самый страшный, самый упорный, тот, кого звали «Грозный слепец», непобедимый Ян Жижка, поборник чаши!».

Громкое, ненавистное имя главы таборитов – сектантов, которые во время Гуситских войн превосходили своим упорством, своей храбростью и жестокостью всех остальных реформатов, – поразило, как удар грома, обоих священников. Капеллан даже осенил себя крестным знамением, а тетушка, сидевшая рядом с Альбертом, невольно отодвинулась от него.

«Боже милостивый! – воскликнула она. – Да о чем и о ком говорит этот мальчик? Не слушайте его, господин аббат! Нет, никогда, никогда наша семья не имела ничего общего с тем окаянным, чье гнусное имя он только что произнес».

«Говорите за себя, тетушка, – решительно возразил Альберт. – Вы Рудольштадт в душе, хотя в действительности происходите от Подебрадов. Но в моих жилах течет на несколько капель больше чешской крови и на несколько капель меньше иностранной. В родословном древе моей матери не было ни саксонцев, ни баварцев, ни пруссаков, она принадлежала к чистой славянской расе. Вы, тетушка, по-видимому, не интересуетесь благородным происхождением, на которое не можете претендовать, а я, дорожа моим славным происхождением, могу сообщить вам, если вы не знаете, и напомнить вам, если вы забыли, что у Яна Жижки была дочь, которая вышла замуж за графа Прахалица, и что мать моя, будучи сама Прахалиц, является по женской линии прямым потомком Яна Жижки так точно, как вы, тетушка, потомок Рудольштадтов».

«Это бред, это заблуждение, Альберт…».

«Нет, дорогая тетушка, это вам может подтвердить господин капеллан, человек правдивый, богобоязненный; у него в руках были дворянские грамоты, удостоверяющие этот факт».

«У меня?» – вскричал капеллан, бледный как мертвец.

«Вы можете в этом сознаться, не краснея перед господи-

ном аббатом, – с горькой иронией ответил Альберт. – Вы ведь только исполнили свой долг католического священника и австрийского подданного, когда сожгли эти документы на следующий день после смерти моей матери».

«Моя совесть повелела мне тогда сжечь их, но свидетелем этого был один Господь, – проговорил капеллан, еще больше бледнея. – Граф Альберт, кто мог открыть вам это?».

«Я уже сказал вам, господин капеллан: голос, говорящий громче, чем голос священника».

«Что же это за голос, Альберт?» – спросила я, сильно заинтересованная.

«Голос, говорящий во время сна», – ответил Альберт.

«Но это ничего не объясняет, дорогой сын», – сказал граф Христиан задумчиво и грустно.

«Голос крови, дорогой отец!» – ответил Альберт тоном, заставившим всех нас вздрогнуть.

«О Боже мой! – воскликнул дядя, стискивая руки. – Опять те же сны, та же игра больного воображения, которые когда-то так терзали его бедную мать. – И, наклонившись к тетушке, он тихо прибавил: – Должно быть, во время своей болезни она обо всем этом говорила при ребенке, и, очевидно, ее слова запечатлелись в его детском мозгу».

«Это невозможно, братец, – ответила канонисса, – Альберту не было и трех лет, когда он потерял мать».

«Вероятнее всего, – вполголоса заговорил капеллан, – что в доме могло сохраниться что-нибудь из тех проклятых ере-

тических писаний, полных лжи и безбожия, которые она хранила в силу семейных традиций. Тем не менее перед смертью у нее хватило нравственных сил пожертвовать ими».

«Нет, от них ничего не сохранилось, – проговорил Альберт, не пропустивший ни одного слова, сказанного капелланом, несмотря на то, что тот говорил очень тихо, а сам он возбужденно прохаживался по большой гостиной и в это время был на другом ее конце. – Вы прекрасно знаете, господин капеллан, что уничтожили все и что на следующий день после ее кончины все обыскали и перерыли в ее комнате».

«Кто же это сумел так засорить твою память, Альберт? – строго спросил граф Христиан. – Какой вероломный или безрассудный слуга вздумал смутить твой юный ум, рассказав, несомненно в преувеличенном виде, об этих семейных событиях?».

«Ни один из слуг мне этого не говорил, отец, клянусь моей верой и совестью».

«Значит, это дело рук врага рода человеческого», – пробормотал с ужасом капеллан.

«Пожалуй, было бы более правдоподобно и более по-христиански, – вставил аббат, – допустить, что граф Альберт одарен исключительной памятью и что события, которые обыкновенно проходят для детей бесследно, запечатлелись навсегда в его мозгу. Убедившись в редком уме графа, я легко могу предположить, что ум этот развился чрезвычайно рано, а что касается его памяти, то она поистине необыкно-

венна».

«Память моя кажется вам такой необыкновенной лишь потому, что вы сами совершенно лишены ее, – сухо возразил Альберт. – Например, вы не помните, что вы делали в тысяча шестьсот девятнадцатом году, после того как мужественный, верный протестант Витольд Подебрад (ваш дед, дорогая тетушка), последний предок, носивший наше имя, обагрил своей кровью скалу Ужаса. Бьюсь об заклад, господин аббат, что вы забыли о том, как вели себя при этих обстоятельствах».

«Признаюсь, совершенно забыл», – ответил аббат с насмешливой улыбкой, что было не очень учтиво в ту минуту, когда всем нам стало ясно, что Альберт бредит.

«В таком случае, я вам напомню, – сказал Альберт, ничуть не смущаясь. – Вы начали с того, что поспешили дать совет императорским солдатам, только что прикончившим Витольда Подебрада, бежать или спрятаться, так как вы знали, что пильзенские рабочие, имевшие мужество признавать себя протестантами и обожавшие Витольда, уже шли отомстить за смерть своего вождя, готовясь растерзать в клочья его убийц. Затем вы отправились к моей прабабке Ульрике, дрожащей и запуганной вдове Витольда, и предложили ей прощение императора Фердинанда Второго, сохранение ее поместий, титулов, свободы, жизни ее детей – при условии, что она будет следовать вашим советам и платить золотом за ваши услуги. Она согласилась: материнская любовь толкну-

ла ее на такой малодушный поступок. Она не почтила мученической кончины своего благородного супруга. Она родилась католичкой и отреклась от собственной веры только из любви к мужу. Она не нашла в себе сил пойти на нищету, изгнание, гонения ради того, чтобы сохранить детям веру, которую их отец только что запечатлел своей кровью, и сохранить им то имя, которое он прославил больше всех своих предков – гуситов, каликстинов, таборитов, сирот, союзных братьев и лютеран» (Все это, милая Порпорина, названия различных сект, объединявших ересь Яна Гуса с ересью Мартина Лютера; к ним, по-видимому, принадлежала и та ветвь рода Подебрадов, от которой происходим мы).

«Словом, – продолжал Альберт, – саксонка испугалась и уступила. Вы завладели замком, вы заставили императорских солдат покинуть его, вы спасли наши поместья. Вы спасли все наши грамоты, весь наш архив. Вот почему моей тетушке, на ее счастье, не удалось восстановить родословное древо Подебрадов и она нашла себе пищу более удобоваримую – родословную Рудольштадтов. За ваши труды вы получили большую награду – вы разбогатели, очень разбогатели. Три месяца спустя Ульрике было разрешено отправиться в Вену и припасть к стопам императора, который тут же милостиво разрешил ей переменить подданство ее детей, воспитывать их под вашим руководством в католической вере, а в будущем отдать на военную службу и позволить сражаться под теми знаменами, против которых так мужественно бо-

ролись их отец и деды. Словом, я и мои сыновья, мы были зачислены в ряды войск австрийского тирана…»

«Ты и твои сыновья!..» – с отчаянием воскликнула тетушка, видя, что он совсем заговаривается.

«Да, мои сыновья: Сигизмунд и Рудольф», – ответил пресерьезно Альберт.

«Это имена моего отца и дяди, – пояснил граф Христиан. – Альберт, в уме ли ты? Очнись, сын мой! Больше столетия отделяет нас от этих горестных событий, совершившихся по воле Божьей…».

Альберт стоял на своем. Он внушил себе и хотел убедить нас в том, что он – Братислав, сын Витольда, и первый из Подебрадов, носивший материнское имя – Рудольштадт. Он рассказал нам о своем детстве и о пытках, которые перенес граф Витольд и о которых он сохранил самое ясное воспоминание. Виновником мученической смерти Витольда он считал иезуита Дитмара (которым, по его мнению, был не кто иной, как его аббат). Он говорил также о глубокой ненависти, которую испытывал в детстве к этому Дитмару, к Австрии, к императорской династии и к католикам. Затем его воспоминания стали как-то путаться; он добавил множество непонятных вещей о вечной и непрерывной жизни, о возвращении людей с того света на землю, основываясь при этом на веровании гуситов, утверждавших, будто через сто лет после своей смерти Ян Гус вернется в Чехию, чтобы завершить начатое дело. По словам Альберта, предсказание это испол-

нилось, так как Лютер, по его мнению, – это воскресший Ян Гус. Одним словом, в его речах была какая-то странная смесь ереси, суеверия, туманной метафизики и поэтического бреда. И все это говорилось так убедительно, с такими точными, интересными подробностями событий, которых он якобы был свидетелем и которые касались не только Братислава, но и Яна Жижки и многих других покойников (он уверял, что все это – его собственные прошлые воплощения), что мы молчали, пораженные, не решаясь ни остановить его, ни противоречить ему. Дядя и тетушка, ужасно страдавшие от этого, по их мнению, нечестивого безумия, тем не менее хотели до конца разобраться в нем: ведь оно впервые обнаружилось так открыто, и надо же было знать источник беды, чтобы потом иметь возможность с ней бороться. Аббат попытался обратить все в шутку, уверяя, что граф Альберт, забав-ник и насмешник, тешит себя, мистифицируя нас своей невероятной эрудицией.

«Он так много читал, – сказал он, – что был бы в состоянии таким вот образом, глава за главой, рассказать нам историю всех веков, притом с такими подробностями, с такой точностью, что люди, склонные верить в чудесное, могли бы подумать, будто он действительно сам присутствовал при всех описанных им сценах».

Канонисса, которая при всей своей пламенной набожности была склонна к суеверию и уже начинала верить племяннику на слово, отнеслась очень неприязненно к разглаголь-

ствованиям аббата и посоветовала ему приберечь свои шуточные пояснения до более веселого случая; затем она стала всячески пытаться вернуть племянника к действительности.

«Берегитесь, тетушка, – нетерпеливо ответил Альберт на ее увещания, – берегитесь, чтобы я вам не сказал, кто вы такая. До сих пор я гнал от себя эту мысль, но что-то говорит мне, что подле меня стоит сейчас саксонка Ульрика».

«Так вы думаете, бедное дитя мое, – ответила канонисса, – что эта благоразумная, самоотверженная прабабка, сумевшая сохранить своим детям жизнь, а потомкам – независимость, состояние, почести, все, чем они теперь пользуются, – вы думаете, что она возродилась снова во мне? Знайте же, Альберт, я так люблю вас, что в состоянии была бы сделать даже больше, чем она. Я пожертвовала бы своей жизнью, если бы этой ценой могла исцелить ваш помутившийся рассудок».

Альберт некоторое время молча смотрел на тетку, и в его взгляде сквозь суровость проглядывала нежность.

«Нет, нет, – сказал он наконец, подходя к ней и опускаясь у ее ног на колени, – вы ангел, и некогда вы причастились из деревянной чаши гуситов. А все-таки саксонка здесь: сегодня ее голос доносился до меня несколько раз».

«Предположите, что это я, Альберт, – проговорила я, пытаясь его развеселить, – только не очень сердитесь на меня за то, что я не предала вас палачам в тысяча шестьсот девятнадцатом году».

«Вы – моя мать! – воскликнул он, глядя на меня страшными глазами. – Не говорите мне этого, так как я не могу вас простить. Господь возродил меня в лоне более сильной женщины, он закалил кровью Жижки мое естество, каким-то образом сбившееся с правильного пути. Амалия, не смотрите на меня, а главное, не говорите со мной! Это ваш голос, Ульрика, причинил мне сегодня столько страданий!»

С этими словами Альберт стремительно вышел, оставив нас в самом угнетенном состоянии, ибо мы с горечью убедились в расстройстве его ума.

Было два часа пополудни. Перед этим мы спокойно отобедали. За обедом ничего, кроме воды, Альберт не пил, так что его безумные речи никак нельзя было объяснить опьянением. Тетушка с капелланом сейчас же побежали за ним вслед: считая его тяжелобольным, они хотели чем-нибудь помочь ему. Но – непостижимая вещь! – Альберт исчез, как по волшебству. Его нигде не могли найти: ни в его комнате, ни в комнате матери, где он часто запирался, ни в одном из закоулков замка. Его всюду искали – в саду, у речного заповедника, в окрестных лесах, в горах. Ни один человек не видел его ни вблизи, ни издали. Он бесследно исчез. Никто в замке в ту ночь не ложился спать. Слуги с факелами искали его до рассвета.

Все семейство молилось. Следующий день прошел в той же тревоге, а следующая ночь – в том же унынии. Не могу вам передать весь мой ужас – ведь до сих пор я ни разу не

испытывала подобных волнений и не переживала столь важных семейных событий. Я была убеждена, что Альберт лишил себя жизни или бежал навсегда. Со мной сделался нервный припадок, меня трясла лихорадка. Несмотря на страх, внушаемый мне этим странным, роковым человеком, во мне все еще жил остаток любви к нему. У моего отца хватило сил отправиться на охоту: он воображал, что где-то в глубине лесов нападет на след Альберта. Бедная моя тетушка, терзаемая горем, не падала духом, была деятельна, мужественна, ухаживала за мной и старалась всех успокоить. Дядя молился день и ночь. Видя его горячую веру и стоическую покорность воле Божьей, я пожалела, что не набожна.

Аббат делал вид, будто немного грустит, но уверял, что совершенно спокоен. «Правда, – говорил он, – граф Альберт во время наших путешествий ни разу не исчезал на такой долгий срок, но иногда он испытывал потребность уединиться и сосредоточиться». По мнению аббата, лучшее средство против странностей молодого графа заключалось в том, чтобы никогда ему не перечить и делать вид, будто ничего не замечаешь. На самом же деле этот интриган и величайший эгоист думал лишь о том, чтобы получать большое жалованье, и потому старался как можно дольше протянуть срок своего пребывания в гувернерах, вводя семью в заблуждение и приписывая себе несуществующие заслуги. Занятый своими делами и развлечениями, он предоставлял Альберта самому себе и, видимо, совершенно не препятствовал развитию

его странностей. Очень возможно, что он не раз видел его нездоровым и возбужденным. И, уж конечно, не мешал ему безудержно предаваться его больной фантазии. Несомненно одно, что аббат умел скрывать все это от тех, кто мог бы рассказать нам что-либо об Альберте. Все письма, полученные дядей от друзей, были полны похвал по поводу наружности и внутренних качеств его сына. Очевидно, Альберт нигде и ни на кого не производил впечатления больного или не вполне нормального человека. Как бы то ни было, но его внутренняя жизнь за все эти восемь лет странствий оставалась для нас непроницаемой тайной. По прошествии трех суток, видя, что Альберт все не появляется, и опасаясь, как бы это происшествие не повредило его собственным делам, аббат собрался ехать в Прагу, якобы на поиски молодого графа, которого, по его словам, могло привести в этот город желание разыскать какую-нибудь книгу.

«Альберт подобен ученым, – говорил он, – которые так погружены в свои изыскания, что для удовлетворения этой невинной страсти готовы забыть весь мир».

Засим аббат уехал и больше не вернулся.

После целой недели мучительной тревоги, когда мы стали уже совсем отчаиваться, тетушка, проходя вечером мимо комнаты Альберта, вдруг увидела в открытую дверь, что он преспокойно сидит в кресле и гладит собаку, сопровождавшую его в таинственном путешествии. На его платье не видно было ни грязи, ни дыр, только золотое шитье потемнело,

словно он побывал в сыром месте или провел эти ночи под открытым небом. Обувь его также была в порядке, – видимо, он ходил не много. Только борода и волосы свидетельствовали о том, что он давно ими не занимался. С этого дня, надо сказать, он перестал бриться и пудрить волосы, как другие мужчины, – вот почему он вам, Нина, и показался привидением.

Тетушка с криком бросилась к нему.

«Что с вами, милая тетушка? – спросил он, целуя ей руку. – Можно подумать, что вы меня не видели целую вечность».

«Бедный мальчик, – воскликнула она, – ведь ты пропадал целую неделю, ни словом нас не предупредив! Вот уже семь ужасных дней, семь ужасных ночей, как мы тебя ищем, плачем о тебе, молимся за тебя».

«Семь дней? – повторил Альберт, с удивлением глядя на нее. – То есть вы хотите сказать, милая тетушка, – семь часов? Ведь я ушел на прогулку только сегодня утром и, как видите, вернулся, не опоздав к ужину. Неужели я мог до такой степени встревожить вас своим коротким отсутствием?».

«Да, конечно, – проговорила канонисса, боясь ухудшить болезненное состояние племянника, раскрыв ему правду. – Это я обмолвилась: я хотела сказать – семь часов. А тревожилась я потому, что ты не привык к таким длинным прогулкам; к тому же я видела сегодня ночью дурной сон, и это вывело меня из равновесия».

«Милая тетушка, чудесный мой друг! – нежно проговорил Альберт, целуя ее руки. – Вы меня любите, как малого ребенка. Но отец, надеюсь, не разделял вашей тревоги?».

«Ничуть. Он ждет тебя к ужину. Воображаю, как ты, должно быть, голоден».

«Не очень: я ведь хорошо позавтракал».

«Где и когда, Альберт?».

«Да здесь, сегодня утром, с вами вместе, милая тетушка. Но я вижу, что вы все еще не пришли в себя. Как я огорчен, что так напугал вас. Но мог ли я это предвидеть?».

«Ну, ведь ты меня знаешь. Лучше расскажи, где ты ел и где спал с того времени, как ушел из дома».

«С сегодняшнего утра? Да как же я мог хотеть спать, как мог проголодаться?».

«А быть может, тебе нездоровится?».

«Ничуть».

«Ты не устал? Должно быть, ты много ходил, взбирался на горы? Это очень утомительно. Где же ты был?».

Альберт прикрыл глаза рукой, как бы силясь вспомнить, но не смог.

«Признаться, ничего не помню, – наконец, проговорил он. – Уж очень я был занят своими мыслями. Я шел, ничего не замечая, как, помните, бывало в детстве. Ведь я никогда не мог ответить ни на один из ваших вопросов».

«Ну, а во время своих путешествий ты обращал больше внимания на то, что видел?».

«Иной раз, но не всегда. Я многое наблюдал, но многое и забыл, благодарение Богу».

«А почему “благодарение Богу”?».

«Да потому, что на земле приходится видеть ужасные вещи», – ответил он, вставая с мрачным видом, которого до сих пор тетушка в нем не замечала.

Тут она поняла, что не следует больше заставлять его говорить, и поспешила к дяде сообщить, что сын его нашелся. Никто в доме еще не знал этого, никто не видел, как он вернулся. Он появился так же незаметно, как исчез.

Бедный дядя, столь мужественно переносивший горе, не выдержал радости – с ним сделался обморок. Так что, когда Альберт вошел в его комнату, отец выглядел хуже сына. Альберт, который после своих длительных путешествий обычно ничего не замечал из происходившего вокруг, в этот вечер казался совсем другим. Он был очень нежен с отцом, встревожился его плохим видом, допытывался о причине. Когда же ему рискнули намекнуть на то, что довело его отца до такого состояния, он ничего не понял, и из его искренних ответов было видно, что он решительно ничего не помнит о своем исчезновении, длившемся неделю.

– То, что вы мне рассказываете, положительно похоже на сон, милая баронесса, – проговорила Консуэло. – Это способно не усыпить меня, как вы ожидали, а свести с ума. Мыслимо ли, чтобы человек прожил целую неделю, ничего не сознавая?

– И представьте, это ничто по сравнению с тем, что вы еще услышите от меня. Я прекрасно понимаю, что вам трудно поверить мне, пока вы собственными глазами не убедитесь, что я не только ничего не преувеличиваю, но, напротив, о некоторых вещах умалчиваю, чтобы сократить свой рассказ. Знайте, я говорю вам лишь о том, что видела собственными глазами, и все-таки иногда спрашиваю себя: что же такое Альберт – колдун или человек, издевающийся над нами? Однако поздно; боюсь, что я злоупотребляю вашей любезностью.

– Нет, это я злоупотребляю вашей, – ответила Консуэло. – Вы, должно быть, очень устали от своего рассказа. Хотите, отложим продолжение этой невероятной истории до завтра?

– Хорошо. Итак, до завтра, – сказала юная баронесса, обнимая ее.

Глава XXIX

Консуэло, выслушав эту действительно невероятную историю, долго не могла заснуть. Темная, дождливая ночь, полная каких-то звуков, похожих на стоны, еще усиливала незнакомый ей дотоле суеверный страх. «Значит, над некоторыми людьми тяготеет непостижимый рок? – говорила она себе. – Чем провинилась перед Богом эта молодая девушка, только что так откровенно и наивно рассказывавшая о своем оскорбленном самолюбии, о своих обманутых радужных надеждах? А что дурного сделала я сама, чтобы моя единственная любовь была так чудовищно поругана и разбита? Какой грех совершил этот нелюдимый Альберт Рудольштадт, чтобы потерять рассудок и способность управлять собственной жизнью? И какое же отвращение должно было возыметь провидение к Андзолетто, чтобы предоставить его, как оно это сделало, дурным склонностям и соблазнам разврата!».

Побежденная усталостью, она, наконец, заснула и погрузилась в бессвязные и бесконечные сновидения. Два-три раза она просыпалась и снова засыпала, не будучи в силах дать себе отчет в том, где она, и считая, что все еще находится в пути. Порпора, Андзолетто, граф Дзустиньяни и Корилла – все по очереди проходили перед ее глазами, произнося странные, горестные речи, упрекая ее в каком-то преступлении, за которое она несла наказание, хотя и не помнила,

чтобы совершала его. Но все эти видения отступали перед образом Альберта. Он беспрестанно появлялся перед ней со своей черной бородой, с устремленным в одну точку взором, в своем траурном одеянии, напоминавшем золотой отделкой и рассеянными по нему блестками погребальный покров.

Проснувшись, она увидела у своей постели Амалию, уже изящно одетую, свежую, улыбающуюся.

– Знаете, милая Порпорина, – обратилась к ней юная баронесса, целуя ее в лоб, – в вас есть что-то странное. Видно, мне суждено жить с необыкновенными существами, потому что и вы тоже принадлежите к их числу, это несомненно. Вот уже четверть часа, как я смотрю на вас, спящую, чтобы рассмотреть при дневном свете, красивее ли вы, чем я. Признаюсь, меня это отчасти тревожит, и хоть я и поставила крест на своей любви к Альберту, мне все же было бы немного обидно, начни он заглядываться на вас. Он ведь здесь единственный мужчина, а я до сих пор была единственной женщиной. Теперь нас две, и, если вы меня затмите, я вам этого не прощу.

– Вам вздумалось насмехаться, – ответила Консуэло. – Это невеликодушно с вашей стороны. Оставьте ваши злые шутки и лучше скажите мне, что же во мне необыкновенного? Быть может, мое прежнее уродство вернулось? Думаю, что это именно так.

– Скажу вам всю правду, Нина. Сейчас, при первом взгляде на вас, когда вы лежали такая бледная, полузакрыв огром-

ные, скорее остановившиеся, чем сонные глаза, свесив с кровати худую руку, сознаюсь – я пережила минуту торжества. Но чем больше я смотрела на вас, тем больше поражала меня ваша неподвижность, ваш поистине царственный вид. Знаете, рука ваша – это рука королевы, а в вашем спокойствии есть что-то подавляющее, что-то покоряющее – я и сама не знаю что. И вдруг вы начали казаться мне до ужаса красивой, а между тем взгляд у вас очень кроткий. Скажите мне, Нина, что вы за человек? В одно и то же время вы и привлекаете и пугаете меня. Мне очень совестно всех тех глупостей, которые сегодня ночью я успела вам наговорить. Вы мне еще ничего не сказали о себе, а сами уже знаете все мои недостатки.

– Если у меня вид королевы, что, право, никогда не приходило мне в голову, – ответила Консуэло, грустно улыбаясь, – то разве только королевы жалкой, развенчанной. Красота моя всегда казалась мне весьма спорной. Если же вы хотите знать мое мнение о вас, милая баронесса Амалия, то вы подкупили меня своей откровенностью и добротой.

– Я-то откровенна – это правда, но откровенны ли вы, Нина? Правда, в вас чувствуется величие, благородная честность, но способны ли вы открывать душу? Думаю, что нет.

– Согласитесь, не мне же делать первые шаги. Это вы, моя теперешняя покровительница и хозяйка моей судьбы, должны вызвать меня на откровенность.

– Вы правы. Но ваше благоразумие пугает меня. Скажите, вы не будете слишком меня журить за мое легкомыслие?

– Я не имею на это никакого права. Я ваша учительница музыки, и только. К тому же бедная девушка, вышедшая из народа, как я, всегда должна знать свое место.

– Вы девушка из народа, гордая Порпорина?! О, это неправда! Этого не может быть! Скорее вы кажетесь мне таинственным отпрыском какого-нибудь княжеского рода. Чем занималась ваша мать?

– Она пела, так же как и я.

– А ваш отец?

Консуэло смутилась. Она не приготовила заранее ответов на все нескромно-фамильярные вопросы юной баронессы. Дело в том, что она никогда ничего не слыхала о своем отце, и ей даже не приходило в голову поинтересоваться, кто он был.

– Так я и знала, – воскликнула, заливаясь смехом, Амалия, – ваш отец был испанский гранд или венецианский дож!

Тон этого разговора показался Консуэло легкомысленным и обидным.

– По-вашему, – заметила Консуэло с оттенком неудовольствия, – честный мастеровой или бедный артист не имеет права передать своему ребенку прирожденное благородство? Вам кажется, что дети народа должны быть непременно грубы и уродливы?

– То, что вы сказали, – это колкость по адресу моей тети Венцеславы, – возразила баронесса, смеясь еще громче. – Ну простите меня, дорогая Нина, если я немножко вас рассерди-

ла, и позвольте мне придумать о вас самый красивый роман. Однако, милочка, одевайтесь живее: сейчас зазвонит колокол, и тетушка скорее уморит всех нас голодом, чем прикажет подать завтрак без вас. Я помогу вам открыть ваши сундуки, давайте ключи. Должно быть, вы привезли из Венеции прехорошенькие туалеты и теперь просветите меня по части мод: ведь я так давно прозябаю в этой дикой стране.

Консуэло, торопясь причесаться и даже не слыша, что ей говорит баронесса, отдала девушке ключи, а Амалия, схватив их, поспешно принялась открывать первый сундук, воображая, что он полон платьев; но, к великому ее удивлению, в нем не оказалось ничего, кроме кипы старых нот – печатных, полустертых от долгого употребления, и рукописных, на первый взгляд совершенно неудобочитаемых.

– Что это такое? – воскликнула она, вытирая поспешно свои хорошенькие пальчики. – У вас, милая Нина, престранный гардероб.

– Это сокровища, – ответила Консуэло, – обращайтесь с ними почтительно, дорогая баронесса. Тут есть автографы величайших композиторов, и я согласилась бы скорее потерять голос, чем не вернуть ноты маэстро Порпоре, который доверил их мне.

Амалия открыла второй сундук; он был полон нотной бумаги и сочинений о музыке, композиции, гармонии и контрапункте.

– А! Понимаю. Это ваш ларчик с драгоценностями, – про-

говорила она смеясь.

– Другого у меня нет, – отвечала Консуэло, – и я хочу надеяться, что и вы будете часто пользоваться им.

– В добрый час! Вижу, что вы строгая учительница. Но вы не обидитесь, милая Нина, если я спрошу, где же ваши платья?

– А вон в той маленькой картонке, – ответила Консуэло и, открыв ее, показала баронессе простенькое черное шелковое платье, аккуратно сложенное.

– И это все? – спросила Амалия.

– Да, все, кроме моего дорожного костюма. Через несколько дней я сделаю себе на смену еще такое же черное платье.

– Так вы в трауре, моя дорогая?

– Быть может, синьора, – серьезно ответила Консуэло.

– В таком случае простите меня. Я должна была сама догадаться по вашему виду, что у вас горе, и я еще больше люблю вас за это. Это сблизит нас, потому что у меня ведь тоже есть причина быть грустной и я могла бы уже носить траур по предназначенному мне супругу. Ах, милая Нина, не ужасайтесь моей веселости, часто я стараюсь заглушить ею глубокое огорчение.

Они обнялись и спустились в гостиную, где их уже ждали.

Консуэло сразу заметила, что в своем простом черном платье и белой косынке, скромно заколотой под самым подбородком булавкой из черного янтаря, она произвела на ка-

нониссу благоприятное впечатление. Старый граф Христиан, казалось, теперь меньше ее стеснялся, а любезен был так же, как накануне. Барон Фридрих, учтивости ради не поехавший в этот день на охоту, заранее приготовил для гостьи, желая поблагодарить ее за заботы, которые она принимала на себя в отношении его дочери, уйму любезных фраз, но так и не смог выжать из себя ни единого слова. Зато, сев с ней рядом, он до того наивно усердствовал, угощая ее, что сам встал из-за стола голодный. Капеллан поинтересовался, в каком порядке патриарх совершает процессии в Венеции, затем стал расспрашивать о пышности богослужения в тамошних церквах, об их убранстве. Из ответов Консуэло он заключил, что она часто посещала церкви, а когда он узнал, что она изучала духовную музыку, то возымел к ней большое уважение.

На графа Альберта Консуэло едва решалась взглянуть, – именно потому, что только он один возбуждал в ней живое любопытство. Она не знала еще, как он относится к ее появлению. Проходя через гостиную, она увидела его в зеркале и успела заметить, что одет он очень изысканно, хотя по-прежнему в черном. У него, несомненно, был весьма аристократический вид, но борода, длинные, небрежно свисавшие волосы и загорелое, с желтоватым отливом, лицо придавали ему сходство с красивым, мечтательным рыбаком с берегов Адриатического моря.

Однако звучность его голоса, приятно ласкавшая музы-

кальное ухо Консуэло, мало-помалу придала ей храбрости, и она подняла на него глаза. Ее удивило, что у него облик и манеры вполне здравомыслящего человека. Говорил он мало, но рассудительно, а когда она встала из-за стола, подал ей руку, правда, не глядя на нее (этой чести он не оказывал ей со вчерашнего дня), но весьма непринужденно и учтиво. Вся дрожа, вложила она свою руку в руку этого фантастического героя рассказов и сновидений прошлой ночи: она ожидала, что эта рука должна быть ледяной, как у мертвеца, но рука оказалась теплой и мягкой, как у совершенно здорового человека. Впрочем, Консуэло едва ли была в состоянии дать себе в этом отчет. Она была до того взволнована, что у нее чуть не закружилась голова, а взгляд Амалии, следивший за каждым ее движением, мог бы окончательно смутить ее, если бы она не вооружилась всей силой воли, чтобы сохранить свое достоинство перед этой насмешливой молодой девушкой. Когда граф Альберт, доведя ее до кресла, низко поклонился ей, она ответила на его поклон, но при этом они не обменялись ни единым словом, ни единым взглядом.

– Знаете, коварная Порпорина, – начала Амалия, садясь рядом с подругой, чтобы удобнее было шептать ей на ухо, – вы делаете чудеса с моим кузеном!

– Пока что я этого не замечаю, – ответила Консуэло.

– Это потому, что вы не соблаговолили обратить внимание на то, как он ведет себя по отношению ко мне. За целый год он ни разу не предложил мне руки, чтобы проводить к

столу или вывести из-за стола, тогда как в отношении вас он проделал это как нельзя более любезно! Правда, сегодня он, по-видимому, переживает минуты просветления. Можно подумать, что вы принесли ему и рассудок и здоровье. Но не придавайте этому значения, Нина. С вами повторится то же, что было со мной: три дня он будет предупредителен, радушен, а потом забудет даже о вашем существовании.

– Я вижу, что мне придется привыкать здесь к шуткам, – сказала Консуэло.

– Не правда ли, дорогая тетушка, – обратилась Амалия вполголоса к канониссе, которая подошла и уселась между ней и Консуэло, – не правда ли, мой кузен чрезвычайно любезен с милой Порпориной?

– Не насмехайтесь над ним, Амалия, – кротко ответила Венцеслава. – Синьора и без того скоро узнает причину наших горестей.

– Я ничуть не насмехаюсь, тетушка. Альберт сегодня прекрасно выглядит, и я радуюсь, видя его таким, каким, мне кажется, он ни разу не был с тех пор, как я здесь. Если б он еще побрился да напудрил волосы, как все, можно было бы подумать, что он никогда не был болен.

– В самом деле, его спокойный и здоровый вид приятно поражает меня, – сказала канонисса, – но я уже боюсь верить, что такое счастье может длиться долго.

– Каким добрым и благородным он выглядит! – заметила Консуэло, желая завоевать сердце канониссы похвалой ее

любимцу.

– Вы находите? – спросила Амалия, пронизывая подругу лукавым и шаловливым взглядом.

– Да, нахожу, – ответила Консуэло решительно. – Я еще вчера вечером сказала вам, синьора, что никогда ни одно лицо не внушало мне такого уважения, как лицо вашего кузена.

– О милая девушка! – воскликнула канонисса, вдруг отбрасывая свою чопорность и горячо сжимая руку Консуэло. – Добрые сердца быстро узнают друг друга. Я так боялась, что наш Альберт может напугать вас! Мне очень тяжко бывает читать на лицах людей отчуждение, которое вызывают подобные болезни. Но вы, я вижу, отзывчивый человек и сразу поняли, что в этом больном, измученном теле скрывается возвышенная душа, достойная лучшей доли.

Консуэло, тронутая до слез словами добрейшей каноницы, порывисто поцеловала ей руку. Она уже чувствовала больше симпатии и доверия к этой горбатой старухе, чем к блестящей и легкомысленной Амалии.

Разговор их прервал барон Фридрих, который, расхрабрившись, подошел к синьоре Порпорине, чтобы попросить ее об одном одолжении. Еще более неловкий в дамском обществе, чем старший брат (эта застенчивость, очевидно, была у них в роду, а потому неудивительно, что она дошла до крайней степени у графа Альберта), барон скороговоркой пробормотал какую-то речь, пересыпая ее множеством извинений, которые Амалия постаралась перевести и объяснить

Консуэло.

– Мой отец спрашивает, – сказала Амалия, – чувствуете ли вы себя в силах после такого утомительного путешествия приняться за музыку и не злоупотребим ли мы вашей добротой, если попросим прослушать мое пение и высказать свое мнение о постановке моего голоса.

– С удовольствием, – ответила Консуэло, быстро подходя к клавесину и открывая его.

– Вот увидите, – шепнула ей Амалия, устанавливая ноты на пюпитр, – Альберт сейчас же сбежит, как ни прекрасны ваши глаза и мои.

Действительно, не успела Амалия взять несколько нот, как Альберт встал и вышел из комнаты на цыпочках, очевидно надеясь быть незамеченным.

– Уже и то хорошо, – все так же тихо сказала Амалия, продолжая наигрывать на клавесине и перескакивая через несколько тактов, – что он со злости не хлопнул дверью, как обыкновенно делает, когда я начинаю петь. Сегодня он чрезвычайно любезен, можно сказать – даже мил.

Капеллан тут же подошел к клавесину, надеясь скрыть этим исчезновение Альберта, и сделал вид, будто поглощен пением. Остальные члены семьи, усевшись полукругом в отдалении, почтительно ожидали приговора, который Консуэло должна была вынести своей ученице.

Амалия храбро выбрала арию из «Ахилла на Скиросе» Перголезе и пропела ее от начала до конца свежим, резким

голосом, очень уверенно, но с таким потешным немецким акцентом, что Консуэло, никогда ничего подобного не слыхавшая, делала неимоверные усилия, чтобы не улыбнуться. Ей достаточно было прослушать несколько тактов, дабы убедиться, что юная баронесса не имеет ни малейшего понятия о настоящей музыке. Голос у нее был гибкий, быть может, даже она когда-то брала уроки у хорошего учителя, но природное легкомыслие мешало ей усвоить основательно что бы то ни было. По той же причине, переоценивая свои силы, она с чисто немецким хладнокровием исполняла самые смелые и трудные пассажи и, нимало не смущаясь, искажала их. Рассчитывая загладить свои промахи, она форсировала интонацию, усиливала аккомпанемент, восстанавливала нарушенный ритм, добавляя новые такты взамен пропущенных, и изменяла всем этим характер музыки до такой степени, что Консуэло, не имей она перед глазами нот, пожалуй, совсем не узнала бы исполняемой вещи.

Между тем граф Христиан, который прекрасно разбирался в музыке, но воображал, судя по себе, что племянница страшно смущена, время от времени повторял, чтобы ободрить ее:

– Хорошо, Амалия, хорошо! Отличная музыка, право же, отличная!

Канонисса, мало понимавшая в пении, озабоченно смотрела на Консуэло, стараясь предугадать ее мнение по выражению глаз, а барон, не признававший никакой иной музы-

ки, кроме звука охотничьего рога, считал, что дочь его поет слишком хорошо, чтобы он мог оценить всю прелесть ее пения, и доверчиво ждал одобрения судьи. Один капеллан был в восторге от этих рулад: никогда до приезда Амалии ему не приходилось слышать ничего подобного, и он, блаженно улыбаясь, покачивал в такт своей большой головой.

Консуэло отлично поняла, что сказать чистую правду значило бы нанести удар всему семейству. Она решила с глазу на глаз объяснить своей ученице, что именно ей следует забыть, прежде чем чему-нибудь научиться, а пока ограничилась тем, что похвалила ее голос, расспросила о занятиях и одобрила выбор пройденных ею вещей, умолчав при этом, что проходились они совсем не так, как следовало.

Все разошлись очень довольные этим испытанием, жестоким лишь для Консуэло. Она ощутила потребность запереться в своей комнате и, перечитывая ноты музыкального произведения, которое только что слышала опошленным, мысленно пропела его, чтобы изгладить в своем мозгу неприятное впечатление.

Глава XXX

Когда под вечер все снова собрались вместе, Консуэло почувствовала себя более непринужденно с этими людьми – она уже успела несколько освоиться с ними – и начала отвечать менее сдержанно и кратко на вопросы, которые те, со своей стороны, уже смелее задавали ей, интересуясь ее страной, ее искусством и ее путешествиями. Она тщательно избегала говорить о себе – это было решено ею заранее – и, рассказывая о среде, в которой ей приходилось жить, умалчивала о той роли, которую сама в ней играла. Тщетно старалась любопытная Амалия заставить ее больше рассказать о себе, – Консуэло не попалась на эту удочку и ничем не выдала своего инкогнито, которое решила сохранить во что бы то ни стало. Трудно было сказать, почему эта таинственность так привлекала ее. Причин было много: начать с того, что она клятвенно обещала Порпоре всячески скрываться и стушевываться, чтобы Андзолетто, в случае если бы он стал ее разыскивать, не мог напасть на ее след, – совершенно излишняя предосторожность, ибо Андзолетто после нескольких слабых попыток найти ее быстро оставил эту мысль, всецело поглощенный в ту пору своими дебютами и своим успехом в Венеции.

С другой стороны, стремясь завоевать расположение и уважение семьи, временно приютившей ее, печальную и оди-

нокую, Консуэло прекрасно понимала, что здесь к ней лучше отнесутся как к обыкновенной музыкантше, ученице Порпоры и преподавательнице пения, чем к примадонне, к актрисе, знаменитой певице. Ей было ясно, что, узнай эти простодушные, набожные люди о ее прошлом, ее положение среди них было бы гораздо труднее, и весьма возможно, что, несмотря на рекомендацию Порпоры, прибытие певицы Консуэло, дебютировавшей с таким блеском в театре Сан-Самуэле, могло бы изрядно напугать их. Но даже не будь этих двух важных причин, Консуэло все равно ощущала бы потребность молчать, никого не посвящая в радостные и горестные минуты своей судьбы. В ее жизни так все перепуталось – и сила, и слабость, и слава, и любовь. Она не могла приподнять ни малейшего уголка завесы, не обнаружив хоть одну из ран своей души, а раны эти были еще слишком свежи, слишком глубоки, чтобы чья-нибудь человеческая рука могла облегчить их. Напротив, она чувствовала некоторое облегчение именно благодаря этой стене, воздвигнутой между ее мучительными воспоминаниями и спокойствием новой, деятельной жизни. Перемена страны, среды, имени сразу перенесла ее в незнакомую обстановку, где она жаждала, играя совершенно другую роль, стать каким-то новым существом.

Это полное отречение от радостей тщеславия, которые утешили бы другую женщину, было спасением для отважной души Консуэло. Отказавшись от людского сострадания и людской славы, она надеялась на помощь свыше. «Надо вер-

нуть хоть частицу былого счастья, – говорила она себе, – счастья, которым я долго наслаждалась и которое заключалось целиком в моей любви к людям и в их любви ко мне. В тот день, когда я погналась за их поклонением, я лишилась их любви, слишком уж дорого заплатив за почести, которыми они заменили свое прежнее расположение. Стану же снова незаметной и скромной, чтобы не иметь на земле ни завистников, ни неблагодарных, ни врагов. Малейшее проявление симпатии сладостно, а к выражению величайшего восхищения неизбежно примешивается горечь. Бывают сердца тщеславные и сильные, которые довольствуются похвалами и тешатся торжеством, – мое не таково: мне дорого обошлось это испытание. Увы! Слава похитила у меня сердце моего возлюбленного, пусть же смирение возвратит мне хоть нескольких друзей!..».

Не то имел в виду Порпора, отсылая Консуэло из Венеции и избавляя ее этим от опасностей и мук любви. Прежде чем снова выпустить ее на арену честолюбия, прежде чем вернуть ее к бурям артистической жизни, он хотел только дать ей некоторую передышку. Он недостаточно хорошо знал свою ученицу. Он считал ее более женщиной, то есть более изменчивой, чем она была на самом деле. Думая о ней сейчас, он не представлял ее себе такой спокойной, ласковой, думающей о других, какой она уже принудила себя быть. Она рисовалась ему вся в слезах, терзаемая сожалениями. Но он ждал, что скоро произойдет реакция, что он найдет

ее излечившейся от любви и жаждущей снова проявить свои силы, свой гений.

То чистое, святое чувство, с которым Консуэло отнеслась к своей роли в семье Рудольштадтов, с первого же дня невольно отразилось на ее словах, поступках, выражении ее лица. Кто видел ее сияющей любовью и счастьем под горячими лучами солнца Венеции, вряд ли смог бы понять, как может она быть так спокойна и ласкова среди чужих людей, в глубине дремучих лесов, когда любовь ее поругана в прошлом и не имеет будущего. Однако доброта черпает силы там, где гордость находит лишь отчаяние. В этот вечер Консуэло была прекрасна какой-то новой красотой. То было не оцепенение сильной натуры, еще не познавшей себя и ожидающей своего пробуждения, не расцвет силы, рвущейся вперед с удивлением и восторгом. Словом, то была уже не потаенная, еще не понятая красота прежней scolare Zingarella[23], не блестящая, захватывающая красота прославленной певицы, – теперь это была неясная, пленительная прелесть чистой, углубившейся в себя женщины, которая знает самое себя и руководствуется святостью своих побуждений.

Ее хозяева, простодушные и сердечные старики, движимые инстинктивным стремлением ко всему благородному, впитывали, если можно так выразиться, таинственное благоухание, изливавшееся на них из ангельской души Консу-

---

[23] Ученицы-цыганочки (*итал.*).

эло. Глядя на нее, они испытывали какое-то отрадное чувство, в котором, быть может, и не отдавали себе отчета, но сладость которого наполняла их словно новой жизнью. Даже сам Альберт, казалось, впервые дал полную свободу проявлению своих способностей. Он был предупредителен и ласков со всеми, а с Консуэло – в пределах учтивости, и, разговаривая с нею, доказал, что вовсе не утратил, как думали до сих пор окружающие, возвышенный ум и ясность суждения, дарованные ему природой. Барон не заснул, канонисса ни разу не вздохнула, а граф Христиан, который обычно с грустью опускался по вечерам в свое кресло, сгорбленный тяжестью лет и горя, на этот раз все время стоял, прислонившись спиной к камину, олицетворяя собою как бы средоточие своей семьи и принимая участие в непринужденной, почти веселой беседе, длившейся без перерыва до девяти часов вечера.

– Видно, Господь услышал наши горячие молитвы, – обратился капеллан к графу Христиану и к канониссе, оставшимся в гостиной после ухода барона и молодежи. – Графу Альберту сегодня исполнилось тридцать лет, и этот знаменательный день, которого так боялись и он и мы, прошел необыкновенно счастливо и благополучно.

– Да, возблагодарим Господа! – проговорил старый граф. – Не знаю, быть может, это только благодетельная иллюзия, ниспосланная нам для временного утешения, но в течение всего дня, а особенно вечером, я был убежден, что мой

сын излечился навсегда.

– Простите меня, – заметила канонисса, – но мне кажется, что вы, братец, и вы, господин капеллан, оба заблуждались, думая, будто Альберта мучит враг рода человеческого. Я же всегда верила в то, что он во власти двух противоположных сил, которые оспаривают одна у другой его душу: ведь часто после речей, словно внушенных ему злым ангелом, его устами спустя минуту говорило само небо. Вспомните все, что он сказал вчера вечером во время грозы, и особенно его последние слова перед уходом: «Мир Господень снизошел на этот дом». Альберт почувствовал, что на него снизошла Божья благодать, и я верю в его исцеление, как в чудо, обещанное Богом.

Капеллан был слишком робок, чтобы сразу согласиться с таким смелым утверждением. Обычно он выходил из затруднения, прибегая к таким сентенциям, как: «Возложим наши упования на вечную премудрость», «Господь читает то, что сокрыто», «Дух погружается в Бога», и к разным другим – скорее утешительным, чем новым.

Граф Христиан колебался между желанием согласиться с суровыми догмами своей доброй сестры, нередко направленными в сторону чудесного, и уважением к робкому и осторожному догматизму капеллана. Чтобы переменить тему, он заговорил о Порпорине, с большой похвалой отозвавшись о ее прекрасной манере держать себя. Канонисса, успевшая уже полюбить девушку, горячо присоединилась к похвалам

брата, а капеллан благословил их сердечное влечение к ней. Ни одному из них и в голову не пришло объяснить присутствием Консуэло чудо, свершившееся в их семье. Они получили благо, не зная его источника; это было именно то, о чем Консуэло стала бы молить Бога, если бы ее спросили, чего она хочет.

Наблюдения Амалии были более точны. Теперь для нее было ясно, что ее двоюродный брат настолько владеет собой, когда это нужно, что может скрыть хаотичность своих мыслей при людях, не внушающих ему доверия или, наоборот, пользующихся его особенным уважением. При некоторых друзьях и родственниках, к которым он чувствовал симпатию или антипатию, он никогда не проявлял ни малейшей странности своего характера. И вот, когда Консуэло выразила свое удивление по поводу ее вчерашних рассказов, Амалия, мучимая тайной досадой, попыталась вновь разжечь в девушке тот ужас перед Альбертом, который она вызвала в ней накануне.

– Ах, друг мой, – сказала она, – не доверяйте этому обманчивому спокойствию: это не что иное, как обычный светлый промежуток между двумя припадками. Нынче вы его видели таким, каким видела его и я, когда приехала сюда в начале прошлого года. Увы! Если бы воля родных предназначила вас в жены подобному маньяку, если бы, желая победить ваше молчаливое сопротивление, они составили молчаливый заговор и до бесконечности держали вас пленницей в этом

ужасном замке, в этой атмосфере постоянных неожиданностей, страхов, волнений, слез, заклинаний, сумасбродств, если бы вам пришлось ждать выздоровления, в которое все верят, но которое никогда не наступит, – вы, как и я, разочаровались бы в прекрасных манерах Альберта и в сладких речах его семьи.

– Мне кажется просто невероятным, – сказала Консуэло, – что вас могут принудить выйти замуж за человека, которого вы не любите. Ведь вы, по-видимому, кумир всех ваших родных.

– Меня ни к чему не могут принудить, – они прекрасно знают, что из этого ничего не вышло бы. Но они забывают, что Альберт не единственный подходящий для меня супруг, и одному Богу известно, когда в них умрет, наконец, нелепая надежда на то, что я снова могу полюбить его, как любила в первое время после своего приезда. К тому же мой отец, будучи страстным охотником, чувствует себя прекрасно в этом проклятом замке, где такая чудесная охота, и всегда под каким-нибудь предлогом откладывает наш отъезд, который предполагался уже двадцать раз, но так и не был осуществлен. Ах, милая Нина, если бы вы нашли способ в одну ночь извести всю дичь в округе, вы оказали бы мне величайшую услугу.

– К сожалению, я могу лишь развлечь вас музыкой и разговорами в те вечера, когда вам не захочется спать. Постараюсь быть для вас и успокоительным средством и снотвор-

ным.

– Да, вы напомнили мне, что я еще не докончила вам своего рассказа. Начну сейчас же, чтобы вы могли сегодня заснуть пораньше…

Только через несколько дней после своего таинственного исчезновения (он продолжал пребывать в уверенности, что его недельное отсутствие длилось всего семь часов) Альберт заметил, что аббата нет в замке, и спросил, куда его отправили.

«Он был больше не нужен вам, – ответили ему, – и вернулся к своим делам. Разве до сих пор вы не замечали его отсутствия?»

«Я заметил, – ответил Альберт, – что чего-то недостает моим страданиям, но не мог отдать себе отчета – чего именно».

«Так вы очень страдаете, Альберт?» – спросила каноническа.

«Да, очень», – ответил он таким тоном, словно его спросили, хорошо ли он спал.

«Стало быть, аббат был тебе очень неприятен?» – в свою очередь, спросил его граф Христиан.

«Очень», – тем же тоном ответил Альберт.

«А почему же, сын мой, ты не сказал мне об этом раньше? Как мог ты так долго выносить антипатичного тебе человека, не поделившись этим со мной? Неужели ты сомневался, дорогой мой мальчик, в том, что, узнав о твоих страданиях,

я бы немедленно избавил тебя от них?»

«Это так мало прибавляло к моему горю, – ответил Альберт с ужасающим спокойствием. – Я не сомневаюсь в вашем добром отношении ко мне, отец, но если бы вы удалили аббата, это мало облегчило бы мою участь, ибо вы, наверное, заменили бы его другим надзирателем».

«Скажи лучше – дорожным спутником. При моей любви к тебе, мой сын, мне больно слышать слово надзиратель».

«Ваша любовь, дорогой отец, и заставляла вас заботиться обо мне таким образом. Вы даже не подозревали, как мучили меня, удаляя от себя и из этого дома, где провидение повелевало мне жить до момента, пока не свершатся надо мной его предначертания. Вы думали, что способствуете моему выздоровлению и покою, и хотя я лучше понимал, что было бы полезнее для нас с вами, мне пришлось подчиниться. Таков был мой долг, и я выполнил его».

«Я знаю, Альберт, твое доброе сердце и твою привязанность к нам, но не можешь ли ты выразить свою мысль яснее?»

«Это очень легко, – ответил Альберт, – и настало время сделать это».

Альберт проговорил это таким спокойным тоном, что нам показалось, будто мы дожили до той счастливой минуты, когда душа его, наконец, перестанет быть для нас мучительной загадкой. Мы все окружили его, побуждая ласковыми взглядами впервые в жизни излить свои чувства. По-видимому,

он решил довериться нам, и вот что он поведал:

«Вы всегда смотрели на меня, да и сейчас еще смотрите, как на больного и безумного. Не чувствуй я ко всем вам такой бесконечной любви и нежности, я, пожалуй, решился бы углубить разделяющую нас пропасть и доказал бы вам, что, в то время как вы погрязли в мире заблуждений и предрассудков, мне небо открыло доступ к истине и к свету. Но, не отказавшись от всего того, что составляет ваш покой, веру и благополучие, вы не в силах были бы понять меня. Когда невольно в порыве восторга мне случается произнести несколько неосторожных слов, я тотчас замечаю, что, желая выдернуть с корнем ваши заблуждения и показать вашим ослабевшим глазам ослепительный светоч, которым я обладаю, я причиняю вам страшные мучения. Все мелочи вашей жизни, все ваши привычки, все фибры вашей души, все силы вашего разума – все это до такой степени связано, перепутано ложью, до такой степени подчинено законам тьмы, что, стремясь дать вам новую веру, я, кажется, даю вам смерть. Между тем и наяву и во сне, и в тиши и в бурю я слышу голос, повелевающий мне просветить вас и обратить на путь истины. Но я человек слишком любящий и слишком слабый, чтобы совершить это. Когда я вижу ваши глаза, полные слез, ваши удрученные лица, когда слышу ваши вздохи, когда чувствую, что приношу вам печаль и ужас, я убегаю, прячусь, чтобы не поддаться голосу своей совести и велению судьбы. Вот в чем мое горе, моя мука, мой крест и моя пытка. Ну что, понима-

ете ли вы меня теперь?».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания